Е-52
ч. 2

Б. Еллинский.
Каторжная кузница

E 52

Б. ЕЛЛИНСКИЙ

Подзвон Цепей

ЧАСТЬ II

Каторжная Кузница

ИЗД-ВО ПОЛИТ-КАТОРЖАН
МОСКВА
1927

65199/8°

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
— и —
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА"

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XXVII

МОСКВА

Е 52
891.71-94

Б. ЕЛЛИНСКИЙ

ПОД ЗВОН ЦЕПЕЙ

РОМАН

ИЗ ЖИЗНИ САХАЛИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ

ЧАСТЬ II

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
Инв. № 65199/8

ЛЕНИНГРАД
1927 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РОССР
№ 65199 г.

Главлит № 85647 Тираж 5000 экз. 10½ л.

Тип. „Коминтерн" Центрального Издательства Народов СССР. Ленинград, Красная ул. № 1.

КАТОРЖНАЯ КУЗНИЦА

„КАТОРЖНАЯ КУЗНИЦА“

является продолжением романа

Б. ЕЛЛИНСКОГО

ПОД ЗВОН ЦЕПЕЙ

часть I.

„В ТИСКАХ КАТОРГИ“

Изд. Политическ. Каторжан

Москва 1927 г.

Цена 1 руб. 50 коп.

ГЛАВА I.

Тихо шелестит камыш и снова сдвигается за лодкой. Черные цилиндрические головки его колышатся и точно ныряют в лунном свете.

Кормовое весло с легким журчаньем буровит воду неширокой речки и, ритмично покачивая лодку с боку на бок, медленно гонит ее все дальше и дальше от моря.

Сейчас прилив.

Под мощным, тяжелым напором его шаг за шагом отступает скромная речка Александровка. Версты на три от устья, обратно в глубину плоской низменной долины возвращает она свое течение; вздувается и до самого верха заполняет крутые, обрывистые берега свои.

Лодке плыть легко.

— Держись, Коля, середины, а то камыши по лицу хлещут!— говорит Сибирская Роза, одной рукой обнимая Сосновскую, а другой заботливо отстраняя от нее целый каскад гибких, тоненьких хлыстиков.

— За поворотом чище будет. Там лозняк по берегу кончается, деревья пойдут, и камыша не будет. Потерпи, Саша! —отрывисто пояснил высокий 15-летний мальчуган, налегая на весло, чтобы не задеть за нависшую иву.

— Да камыши — ничего! Я привыкла к ним на Лахте. В Петербурге у нас, на взморье, камыша побольше, чем здесь... А вот комары кусаются ужасно; да еще мошка эта ваша, какая-то совсем особенная; у нас нет такой... точно крапива жжет, — смеялась Сосновская, отмахиваясь сорванной веткой от назойливых насекомых.

Пыльным клубом вились они над лодкой, а из камышей прибывали все новые и новые тучи.

— Ну, от них у нас зато и средство есть хорошее. Коля, давай спички!

Скоро на баке запылал в железном тазу дымокур, и крылатые полчища стали редеть.

— Это еще что! — заговорила Сибирская Роза, когда лодка вынырнула из камышей на чистую воду. — А вот бродяги

рассказывают, что за хребтами к северу, там, где тундра и болота пойдут... вот там так дышать трудно, такая масса мошки. Без сетки часу не проживешь, заедят прямо; да и бывали такие случаи, говорят. Впрочем, и на Каре насмотрелась я довольно этой прелести. Как в лес пойдешь, бывало, так все обязательно в сетках, а на привале, бывало, дымокуры кругом разводили, штук пять, шесть. Так в дыму и сидим. Всю прогулку испортят противные. Домой вернешься, руки волдырями покрыты, лицо опухшее, даже глаза едва смотрят, а уши вздуются, точно два бублика. Только и спасенья тогда — нашатырным спиртом примачивать; зуд проходит, и опухоль опадает от него.

— Вот я все слышу: Кара, да Кара, — задумчиво промолвила Сосновская. — Знаю, что это золотые прииски где-то за Сретенском и что работают там каторжане. Знаю, что лет десять тому назад бежало оттуда несколько человек политических, и после этого было страшное избиение остальных. Я еще девочкой была тогда лет восьми или девяти; но помню, как сейчас, что дядя Вася волновался, приносил целые пачки прокламаций... Он был народоволец южной группы, Василий Семенович Гусев... Удивительно симпатичный человек и прямо с каким-то универсальным образованием; все, бывало, знает и все умеет сделать. Он и пахарь, и механик, и пчеловод, и химик, и слесарь замечательный, и ботаник, и поэт, и философ,—все, что угодно. Был близок с Перовской и лучшим своим другом считал Кибальчича, но в событиях 1 марта участия не принимал, так как был на юге в это время. Меня он любил страшно. Придет, бывало, к нам с тетей Дашей и с Васькой... Это сын его, одних лет со мною... Так я не иду играть с ребятами, а заберусь к дяде на колени или усядусь рядом с ним на диване и целый вечер готова слушать его рассказы: как он ходил в народ, как работал в бурлацкой артели на Волге, в донских степях... Прокламации и письма разные мы с Васькой носили по разным адресам от него, и не было случая, чтобы попались или подвели кого-нибудь... От него научилась я многому и прежде всего ценить свободу, как самый драгоценный дар природы. Все люди, которые боролись и борются за свободу, для меня, как родные. Расскажи, Стана, голубчик, о всех, кого ты знала на Каре; все, что ты знаешь; с самого начала... Домой я не хочу; мне так тяжело теперь без Бориса. И, знаешь, у меня сердце кровью обливается, когда я подумаю, что ему сидеть в кандальной еще два года. Те, кто его туда послали, отлично понимали, что они обрекают его на духовное одиночество. Будь там рядом с ним хотя бы один политический — и дело было бы совершенно иное. Ты понимаешь меня, Стана: слушая твой рассказ о борцах, близких по целям Борису, я лучше сумею разобраться в положении Бориса и ближе войду в круг его симпатий и интересов. Расскажи же, Стана, все с начала.

Во-первых, что значит такое странное название — Кара? Где она находится? Сколько политических там жило? В каких условиях? Почему и как бежали оттуда? Твой папа там был начальником тюрьмы, говорят... Правда это?

— Неправда! он служил по приисковой части там, а не по тюремной... Да ты постой, постой, Оля! — смеясь, остановила ее подруга. — Ты прямо засыпала меня вопросами... Целый доклад наметила. Тут и ночи не хватит. Не забудь, что я тоже девочкой жила там и многое поняла только потом или из маминых рассказов. Кое-что, как сумею, расскажу тебе. Все равно сейчас дома ничего делать не захочется, да и поздно уже... а ночь такая тихая, лунная... Отпразднуем по-своему день твоей свадьбы.

Она нежно обняла прижавшуюся к ней Сосновскую, и обе, уютно прислонившись к покрытой ковром высокой спинке сиденья, загляделись на окружающую картину.

Над крутым берегом нависли корявые, узловатые ивы. Серебристым каскадом ниспадала с них до самой воды кружевная масса листвы. Бледный месяц вставал из-за далеких хребтов, и узкой чешуйкой сверкала середина реки, совсем черной и точно бездонной у берега.

На носу лодки еще тлел дымокур, изредка вспыхивая красными искрами и смолистым дымком обдавая лодку.

— Кара — по-татарски значит «черная». Это река, длиною верст в 70, приток Шилки. Шилка, ты знаешь, впадает в Амур, а Кара в Шилку, верстах в 130—150 от Сретенска. Вдоль этой речки и расположены золотые прииски — Карийские. Там, на расстоянии 30 верст находится семь каторжных тюрем: Усть-Кара, Нижняя тюрьма, тюрьма для политических, Нижние прииски, Средняя Кара, Верхняя Кара и Амурская тюрьма. Все взятое вместе называется Карийской исправительной колонией. Начальник и все центральное управление находятся у Нижних приисков. Там человек 300—400 уголовных каторжан, которые работают по добыванию золота. Тут же недалеко, всего за полчаса ходьбы, жила и «вольная команда» политическая.

— Большое поселение? В роде поста Александровского?

— Да, пожалуй! Только у нас здесь все-таки улицы довольно правильные; а там просто большая, разбросанная как-попало деревня из маленьких избушек. В нескольких длинных казармах живут конвойные солдаты, две роты. Начальник колонии, конечно, живет в приличном доме с железной крышей. Также офицеры и приисковые служащие. В этой части есть улицы и даже площадь. Тюрьмы — в роде нашей: такие же пали кругом и бревенчатые бараки с решетками.

— Ну, а политические где живут? Есть ли между ними семейные, как здесь?

— Да, были и семейные, хотя немного, из «вольной команды». Большинство же еще сидело в тюрьме, и жен при них не было... Вот и тебе, Оля, следовало бы приехать сюда и выйти за Бориса замуж только через 2 года, когда его выпустят. Тогда вы сразу же устроились бы своим домиком, как все остальные; и у тебя, и у него не было бы таких долгих и горьких лет ожиданья, как теперь.

— Нет, Стана. Ты говоришь так потому, что еще мало меня знаешь. Поверь мне, что уж если я люблю человека, то так называемые культурные навыки и преимущества, как бы я ни дорожила ими, — для меня перестают что-нибудь значить. Жить и знать, что он в каторжной тюрьме на Сахалине, за 12.000 верст от меня, один! Нет! это сверх моих сил!.. Он может заболеть, ведь он ранен, и рана не зажила еще как следует в тюрьме-то... Может случиться мало ли какое несчастье... Все-таки я здесь, близко... все буду знать и сумею разделить с ним и горе, и радость... Не говори об этом, Стана милая! Скажи лучше, кого из женщин знала ты на Каре?

— Знала и помню Брешковскую, Екатерину Константиновну. Она жила вместе с Наталией Армфельд в одной избушке, недалеко от нас. Мы с мамой часто у них бывали.

— Ах, я слышала про Армфельд от дяди Васи. Она тоже принадлежала к южной группе, — с оживлением перебила Сосновская.

— Совершенно верно. Она была арестована в Киеве в 79 году ночью, во время конспиративного собрания группы. Мужчины отстреливались из револьверов. Жандармы тоже стреляли. Так что с обеих сторон были убитые и раненые. По этому делу Армфельд была сослана на 15 лет в каторгу на Карý. Это была очень образованная женщина из богатой семьи, дочь генерала. Она говорила по-французски, по-немецки, по-английски и даже рисовала. Я помню, например, портрет ее матери собственной работы. Старушка же уехала в Россию к другим детям, когда мы познакомились. Портрет, хотя и самодельными, очень плохими красками написан, но лицо — как живое и, говорят, очень похож. Комнату их помню смутно. Сначала темная, холодная и очень маленькая передняя, затем комната в 2 окна, с низким дощатым потолком и земляным полом. Некрашеный стол без скатерти, несколько грубых стульев и узкая кровать с серым шерстяным одеялом. На полках по бокам двери—посуда. Вот и все убогое убранство. Она была очень добрая и любила приласкать, когда вместе с моей мамой я приходила к ней. Не помню, о чем они говорили, но ходили мы почти каждый день...

Обе подруги задумались, и разговор на время умолк.

Тихо плескалась река; на лугах кричала какая-то птица печально и звонко.

Одетые лунным сияньем, высились горы, как нежный туманный фон за черными силуэтами перекрученных, узловатых деревьев.

— Бесконечно жаль мне эту Армфельд, — задумчиво продолжала свой рассказ «Сибирская Роза».—Она часто болела, кашляла и почти все время сидела дома, хотя росту была высокого и крупного, мужского сложения. Бедная, красотой не отличалась и казалась старше Брешковской. Эта, наоборот, была веселой и жизнерадостной. Вечно хлопотала по хозяйству. Помню как сейчас ее костюм. Серая суконная юбка из арестантского сукна, мужские сапоги, стриженные волосы под круглой шапкой и халат с желтым тузом на спине. Зимой она носила воду для хозяйства, возила на саночках вязанки дров, благо лес был недалеко, и стряпала. Она выучила меня читать, писать и вышивать крестиком. Помню, как мучилась я, когда принялась вышивать папе рубашку. Только, бывало, вершка два вышью, как Екатерина Константиновна заставляет все распороть и начинать с начала из-за кривых крестиков. Зато теперь я тебе вышью что угодно, хоть на выставку. Я тебе покажу потом несколько полотенец, вышитых ею на память маме. Армфельд потом вышла замуж, но через два года умерла от чахотки. После нее осталась девочка, за которой приехала снова из России бабушка и увезла ее. Брешковская, конечно, в это время от них уже переехала в другую избушку и жила вместе с женой Синегуба, народовольца, Сергея Силыча, который еще сидел в тюрьме. Она была удивительная красавица, славилась на все прииски...

— Какие, должно быть, все это были чудные женщины! — с увлечением перебила Сосновская.—Невольно вспоминаешь поэму Некрасова о Трубецкой и Волконской. Так и хочется преклониться перед ними, как перед святыми.

— Были и такие. Разные бывают люди, Оля. Даже и там, и среди этих особенных людей случаются драмы самого обыденного, житейского характера. Вот, например, семья Успенских. Они жили недалеко от нас в избушке небольшой. Жена его была акушерка. Звали ее Александра Ивановна. У них был сын Витя, наш сверстник, играли мы всегда вместе... Она скучала по России, проклинала Сибирь и все собиралась уехать, а он безумно любил Александру Ивановну, и на этой почве у них постоянно выходили драмы. Наконец, она окончательно решила уехать, и когда муж почувствовал, что это уже бесповоротно, то покончил с собою... в бане повесился. Мама все его жалела и говорила, что он дивный был человек. Тяжелая была драма. Вся вольная команда долго ходила, как пришибленная [1].

---

[1] На самом деле дело было далеко не так: нечаевец Успенский, неосновательно заподозренный в осведомлении тюремного нач-ва, был повешен своими товарищами. См. об этом у Прибылева „В динамитной мастерской» и «Карийская тюрьма» гиз. 1924 г. и в рецензии Б. Козьмина о кн. Прибылева в «Печ. и Револ.», кн. V за 1924 г.

— Боже, какой ужас! Правда, сердцу не прикажешь любить, если разлюбило, но как можно бросить в такой обстановке мужа, если знаешь, что он живет тобою и что все остальные человеческие радости от него отняты? Как могла родная рука отнять и эту последнюю радость?

— В семье не без урода, Оленька; и люди везде — только люди. Но все-таки большинство политических ссыльных, это—железные люди, и о них невольно вспоминаешь с особенным чувством умиления. Здешних я только начинаю узнавать; мы ведь только в прошлом году приехали. А карийцев я знаю лучше. Вот, например, д-р Веймар. Его я помню хорошо, потому что он лечил маму и часто приходил к нам для этого из тюрьмы под конвоем. Солдат оставался в кухне или на крыльце, а он подолгу сидел у нас. Бывало, подбегу к нему, усядусь рядом, а он ласково так погладит меня по голове и начнет рассказывать что-нибудь такое хорошее и трогательное, что уйти не хочется. Так бы до вечера сидела и слушала! Чудный был человек и выдающийся врач. Славился по всему округу. У одного священника заболела жена. Все местные врачи единогласно приговорили ее к смерти. Девять душ детей могли остаться сиротами. Не помню, что за болезнь была. Тогда позвали доктора Веймара. Около недели он буквально не отходил от ее постели и вылечил, но сам заболел от переутомления. Денег за лечение он никогда, ни от кого не брал. Мама носила ему в тюрьму молоко, печенье... Другие тоже так делали. Это он брал и делился с товарищами. Смеется, бывало, и говорит, что на улучшение общего котла он согласен.

— За что был сослан доктор Веймар? Ты не знаешь, Стана?

— Подробностей не помню, Оля. Знаю только, что повод к его осуждению был настолько ничтожен, что даже английская газета «Таймс» разразилась целой статьей. Там открыто говорилось, что д-р Веймар — человек, которым Россия вправе гордиться, осужден военным судом с бессмысленной жестокостью, и что весь процесс его годился бы лишь для самой сумасбродной шутки-комедии. Несмотря на то, что в прошлом Веймара было участие в турецкой войне и переход через Балканы, и его храбрость была отмечена, его, за откровенное мнение о русском правительстве и, вообще, о наших беззакониях, посадили в Петропавловскую крепость, держали целый год под следствием и, наконец, сослали в Карийские рудники. И вот, Оля, насколько великая душа была у Веймара. Когда в 81 году на Кару был послан полковник Норд, чтобы предложить д-ру Веймару в числе других освобождение, если он даст честное слово не предпринимать ничего против правительства и подаст прошение о помиловании, — представь себе, — что ответил на это д-р Веймар? Он ответил, что при существующей системе бесправия и гнета он этого слова дать не может и от подачи прошения уклонился. Так и уехал полковник Норд, ничего не

добившись. В тюрьме доктор Веймар нажил чахотку и в 36 лет умер. Бедный! он так ждал свою невесту! Со дня на день она должна была приехать, да так и не дождался ее.

Подруги на время примолкли.

Сибирская Роза, охватив колени руками, машинально покачивалась в такт движениям лодки, а Сосновская с задумчивой грустью смотрела перед собою, ничего не видя.

Полный месяц освещал ее печальное личико, и в бархатных черных глазах блестели слезы.

— А что, если бы нам привал сделать? — предложил гребец, поворачивая лодку к берегу. — Вон спуск удобный и лужайка между деревьями видна.

— Верно! — с оживлением подхватила Сибирская Роза. — Отлично придумал, братишка. Зачаливай вон за ту иву!

Общими силами быстро натаскали сухих веток и кое-как зажгли костер. Багровые отблески забегали по кустам и ближайшим деревьям.

Тени сгустились, и темносиняя ночь сразу обступила небольшую поляну. Даже небо стало точно темнее и глубже.

Стушевались горные силуэты, исчезла даль. Точно кругом поставили темный шатер из неведомой ткани полупрозрачного мрака.

Под берегом булькала и слабо плескалась вода; бесшумно порхали и кувыркались над костром летучие мыши. Усевшись на ковре и закутавшись в теплые шали, подруги молча смотрели на огонь.

Коля вытащил со дна лодки ружье и стоял теперь, опираясь на него, в картинной позе, весь облитый красным светом.

— Ну, а теперь расскажи, Станочка, что ты знаешь, как бежал Мышкин с товарищами, — обратилась Сосновская. — До нас доходили смутные слухи о невозможных условиях жизни, о страшном избиении оставшихся... Потом был слух, что Мышкин и другие привезены в Алексеевский равелин, а затем их, кажется, переправили в Шлиссельбург... В студенческих кружках много говорили об этом, но все как-то смутно и сбивчиво. Борис тоже кое-что рассказывал, но и у него сведений точных не было... Расскажи, пожалуйста, что заставило их решиться на такой отчаянный шаг? Как все это вышло?

— Видишь ли, Оля; я была еще маленькая, когда все это происходило, и вникать во все, конечно, не могла. Уже после, в 89 году, когда мы переехали в Горный Зерентуй, Елизавета Николаевна Ковальская рассказывала мне эту грустную историю. Ты сама выросла в революционной среде и, конечно, знаешь, что до 73 года политических каторжан содержали в Петропавловской крепости или в Харьковском централе. Затем политических стало так много, что все тюрьмы оказались переполненными, и их стали

отправлять в Карийские золотые рудники. С 79 года это сделалось уже общим правилом. А с 87 года, когда и на Каре не хватало места, их стали ссылать сюда, на Сахалин. На Каре их помещали и отдельных зданиях, но работать они должны были наравне с уголовными преступниками, и, по истечении известного срока, им, как и тем, разрешалось жить в «вольных командах», не из человеколюбия, конечно, а чтобы тюрьма не очень переполнялась, да и расход на содержание их при этом уменьшался. Здесь, на Сахалине, положение еще хуже тем, что для политических нет отдельной тюрьмы, а помещают их в общих камерах с уголовными, как, например, твоего Бориса, и стараются отделить друг от друга по разным округам. Карийской каторгой заведывал тогда полковник Кононович, теперешний генерал-губернатор Восточной Сибири, родной дядя нашего Сергея Николаевича Турского. По словам самих политических, это был сравнительно терпимый человек. При нем в конце 80 года на Каре было около 50 политических каторжан; из них 9 жили в «вольной команде», в избушках, со своими семьями. Надо сказать правду, что Кононович несколько облегчил им существование и не настаивал на исполнении варварского закона, осудившего некоторых к прикованию к тачке. Из политических в это время к тачке прикованы были четверо: Березин, Попенко, Фомичев и Щедрин. Конечно, кроме неприятностей, ничего из этих стараний не выходило. Вдруг, кажется, в 1881 году, министр внутр. дел Лорис-Меликов, — помнишь, который проповедывал знаменитую «диктатуру сердца», — повел систематическую травлю на политических. Им запрещена была переписка с родными, а также работа на приисках. Они должны были безвыходно сидеть в тюрьме. Наконец, приказано было уничтожить «вольные команды», всех до одного поместить в тюрьму, обрить половину головы и заковать в цепи. Можешь себе представить, каким ударом это было для людей, уже два года живших на воле с женами, детьми, приехавшими нарочно для этого за многие тысячи верст. Снова отвратительный тюремный воздух, кишащие насекомые, кандалы... Ужас! А жены и дети в трущобе, без средств к жизни, без права свиданий и даже переписки с заключенными. Но ничего нельзя было поделать, и приказ был об'явлен. К 1 января все должны были итти в тюрьму. Начались самоубийства. Первым застрелился Семяновский Евгений, 30-летний, полный сил человек, бывший петербургский адвокат; осужден он был за участие в газете «Вперед». Пять лет пробыл в тюрьме; только дождался освобождения в «вольную команду» и вот — опять все с начала. Он застрелился в ночь на новый год. С ним в это время в одной избушке жил Чарушин. От выстрела он проснулся, бросился к товарищу, но уже поздно, тот умирал, а на столе лежало трогательное письмо к отцу, известному киевскому врачу того времени. Следом за ним отравился

Родин, а Елизавета Николаевна Ковальская, вместе с другими женщинами-политическими, лишь только они начали в своей женской тюрьме ряд протестов, были увезены в Усть-Кару. Там их, за их стойкость и упорство в борьбе с тюремной администрацией, перевели из разряда исправляющихся в разряд испытуемых.

— Какой ужас! Какие пытки! И это Лорис-Меликов! А как этот негодяй рисовался перед Европой своей «диктатурой сердца»,— всплеснула руками Сосновская. — А что же Кононович?

— Он написал рапорт об отставке, прибавив, что для исполнения таких распоряжений он непригоден, и потому просит об отставке.

— Да что ты! Ну и что же?

— Да что! Конечно, ему отставку моментально дали, а иркутский генерал-губернатор об'явил ему, что с такими воззрениями он, вообще, не годится для службы правительству. Он уехал в Петербург и, благодаря связям, получил место в генеральном штабе, а затем уже много лет спустя, в 88 году, назначен был сюда, на Сахалин, начальником острова. К этому времени сюда привезли первую группу политических, около 20 человек из Партии Польского Пролетариата. Многие из них еще здесь и теперь; они вспоминают о нем, как о человеке тактичном и умном, умевшем с ними ладить. Затем островом временно управлял ген. Белый, а потом явился наш Мерказин, помпадур и сатрап вавилонский, как его здесь окрестили. Да! Так вот: когда ушел Кононович с Кары, то на его место назначен был грубый и жестокий майор Потулов. Настали для политических тяжелые времена, такие тяжелые, что терять им было нечего. Самые смелые решили бежать, так как тут можно было выиграть свободу. Сначала они устроили подкоп из камеры под тюремные пали. Работали целую зиму; горстями собирали и в карманах выносили землю. Но весной подземный ход был залит водой и, конечно, через него бежать было нельзя. Тогда Мышкин предложил ежедневно по-двое прятаться в тюремных мастерских, где они работали, а чтобы при поверке заключенных по камерам нельзя было заметить отсутствующих, на их места на нары укладывали чучела из разного барахла и прикрывали их халатами, будто спят. Первыми спрятались Мышкин и Хрущов. Про Мышкина ты знаешь, конечно. Это тот самый студент-технолог, который в 75 году пытался освободить из Вилюйска писателя Чернышевского. Он еще переоделся жандармским офицером и с поддельным приказом явился к Вилюйскому исправнику. Но прибыл он без всякого конвоя; это и показалось подозрительным. После попытки к бегству Мышкин был арестован и сослан на Кару. Хрущова я не знаю. Оба они дождались ночи, перелезли через пали и тайгой пошли к Владивостоку. Никто ничего не заметил. Через два дня ушли еще двое: Юрковский и Долгушин, за ними Маловский с Щедриным и, наконец, Крыжановский с Минаковым. Последние, соскакивая с палей, свалились

в ров с водой, громкий всплеск разбудил часового; тот сделал тревогу, и побег открылся. Пробродив всю ночь, мокрые с головы до ног, по кустам и оврагам в окрестностях Кары, они утром сами явились в тюрьму. Для поимки же остальных организована была погоня. По всем городам вплоть до Тихого Океана разослали телеграммы с приметами. Обещано было по 500 рублей награды за каждого пойманного беглеца. Целые деревни, к стыду нашему, побросали полевые работы, хозяйство и от мала до велика ушли в тайгу на ловлю. Конечно, при таких мерах трудно было скрыться. Ведь ушли в чем были. Ни карт, ни компаса, ни пищи или денег ни у кого не было. Юрковский, Долгушин, Щедрин и Маловский были пойманы казаками на берегу Аргуни, верстах в 50 от Кары, а Мышкину с Хрущовым удалось добраться до Владивостока. Там их арестовали, когда они пытались сесть на иностранный корабль, и в кандалах доставили обратно.

— Бедные, бедные! — вздохнула Сосновская, сжимая руки.— Что должны были они испытать! Тысячу верст пройти тайгой; звери, голод, преследование — все миновало; один шаг оставался до свободы, и все рухнуло разом.

— Это еще не все! пока их ловили, полковник Руденко ночью 11 мая ворвался с сотней казаков в тюрьму и страшно избил оставшихся. Особенно пострадали сопротивлявшиеся: Волощенко, Кобылянский, Попов, Орлов и Родионов. Их всех после суда, кроме Родионова, отправили в Петропавловскую крепость. Туда же послали немного позже Мышкина, Юрковского, Минакова, Крыжановского и Долгушина, а также Геллиса, Бучинского и Маловского. Там они, должно быть, и были замучены. Остальные несколько месяцев просидели в секретных камерах. У некоторых остались семьи, которые ничего не знали о них. Одна из жен, некто Рогачева, с отчаяния застрелилась. Наконец, заключенные об'явили голодовку. Не ели ничего 10 суток. Майор Халтурин, сменивший Потулова, испугался, забегал и донес министру внутренних дел, графу Дмитрию Толстому. Тот приказал сообщать ему ежедневно о голодающих. К ним стали посылать врача. Наконец, пошли на последнее средство: разрешили женам свидание с мужьями. С одной стороны обещания смягчить режим, с другой стороны слезы жен сломили упорство заключенных, и на тринадцатый день они кончили голодовку.

— И что же, исполнило начальство свои обещания? — спросила Сосновская, пытливо глядя на рассказчицу горящими от негодования глазами.

— Да, исполнило. Ковальская говорила мне, что правительство боится скандала в европейских газетах и потому всегда в таких случаях идет на уступки. Зато потом отыгрывается на другом. Люди гибнут от цынги и чахотки в сырых казематах крепости, кончают сумасшествием и самоубийством, в исступлении

совершают поступки, за которые их расстреливают и т. д. Это средство более верное, чем голодная смерть целой тюрьмы, и не такое скандальное.

— Саша, Ольга Михайловна! Прилив кончился, можно назад ехать!—крикнул Коля, возвращаясь от лодки.

Костер потух. От реки поднимался легкий туман, и трава и кусты, как жемчугом, оделись росою.

Сибирская Роза вопросительно взглянула на подругу.

— В самом деле, пора ехать. А то Ольга Ивановна беспокоиться будет, куда мы пропали,—вскочила та.—Давайте, я снесу ковер в лодку.

— Ха! ха! ха!—засмеялся Коля:—Нет уж, куда вам по кустам ночью такую махину тащить! Идите с Сашей сзади, а ковер я сам доставлю.

Отлив быстро понес маленькую лодку. Рулевой лишь зорко следил за тем, чтобы не налететь на какую-нибудь корягу в извилинах реки.

— Стана! А какая природа на Каре? Похоже сколько-нибудь на Сахалинскую?—спросила Сосновская, поглядывая на туманные очертания горных хребтов.

— Пожалуй, немного похоже, но есть и разница. Тайга дальше, чем здесь, от жилых мест. Кругом горы с горелыми лесами. На берегу реки Кары — промывательные машины для золота, груды песку—отвалов после отработки золота; кругом все изрыто ямами... И в таком виде вся местность на несколько верст от одного прииска до другого; от Верхнего и до Нижнего. Здесь же природа более нетронута; ведь, угольные копи — исключительно по морскому берегу.

— А вот ты упоминала про Горный Зерентуй. Это что такое? Как вы туда попали?

— Горный Зерентуй, это—поселение в 15 верстах от Нерчинского завода, среди бесплодной долины, всего в 50 верстах от Монгольской границы. В Нерчинском заводе есть учебные заведения, а так как мы подрастали, а учиться было негде, то мама и упросила отца взять место заведывающего Зерентуйским тюремным районом. Там еще в это время было две тюрьмы, а новая трехэтажная, каменная, лет десять стояла недостроенной. Папа долго не хотел, но, наконец, согласился, и мы поехали. От Кары это верст 400. Можешь себе представить, что это было за путешествие. Страна совершенно дикая, приключений было масса. Наконец, приехали. Было это в 89 году. В Зерентуйской тюрьме в это время сидели одни уголовные. Политических еще не было. Наступила зима 91 года. Вот раз отец и говорит маме, что ночью привезли из Читы женщину под конвоем, политическую, с наказом держать в одиночке без прогулок и книг; даже имя неизвестно; только под номером. Мне все это запало в душу, и я

все думала о ней. Был там один тюремный фельдшер по фамилии Шикардин, хороший человек. Он рассказал как-то, что навещал в одиночной камере больную женщину, которую привезли на днях; больна она была несерьезно. Вот я и стала его расспрашивать о ней потихоньку. Упросила его передать ей цветы из нашего сада; он пронес их в кармане; потом послала через него же записочку. Он перестал бояться и носил ей от меня каждый день цветы, молоко, печенье; сначала тайком, а потом отец разрешил; но только, говорит, делайте так, будто я ничего не знаю. Книги мы с мамой стали посылать, материал для рукоделья. Она всегда благодарила и все писала, что хочет со мной увидеться. Я уже узнала, что ее зовут Елизавета Николаевна Ковальская. У нее был железный характер. Она, например, никогда не вставала при входе начальства. Не встала и перед самим бароном Корфом, приамурским генерал-губернатором. Еще в бытность Ковальской на Каре в 1888 г., когда он явился туда и скомандовал ей: «Встать!»— она ему не побоялась ответить: «Я сослана сюда за то, что не признаю вашего правительства, и перед представителями его не встаю». Корф позеленел и закричал: «Так поднимите ее штыками!»—но конвой растерялся, и Корф быстро удалился к выходу.

Вот раз отец куда-то уехал, и Шикардин меня повел к ней. Пропустили меня свободно; жандармов там не было, а только надзиратели, которые меня знали. Ах, Оленька! С каким-то особенным трепетом вошла я в первый раз к ней. Большая светлая комната. Посредине кровать, столик, табурет; цветы кругом мои в аптечных банках... Она стояла среди комнаты в белой холщевой юбке и кофточке; на голове белая косыночка; волосы острижены, но не коротко, лежат волнами. Это я уже потом все рассмотрел а сразу-то у меня, как туман был в глазах. Она обняла меня, поцеловала в глаза, в лоб, гладила по голове, но что она говорила, я не помню теперь; что-то хорошее, ласковое. Шикардин ушел, и мы с ней остались одни. Сидели на кровати и долго, долго разговаривали. Так и стоит передо мною бледное, красивое лицо и большие ласковые глаза. Потом я еще была у ней несколько раз, и она мне много рассказывала про жизнь на Каре, про свою мать, которая тогда была еще жива; письма к ней отправляла через меня, но к ней никто не писал; а она все ждала и ждала. Дала она мне свою фотографическую карточку таким образом: написала я в Читу по адресу, а оттуда и прислали. Снята она была с длинными, распущенными волосами. Надпись мне сделала трогательную на карточке... Учиться советовала, даже просила. Говорила, что люди с таким сердцем обязаны учиться как можно больше. Даже сконфузила меня этим. Надарила мне своей работы салфеточек, коврик вышитый, закладочку; а отцу вышила рукава и воротник к двум русским рубашкам... Бедная, милая Елизавета Николаевна! Весь материал для рукоделья, что я

перетаскала к ней в камеру, она мне же вернула в виде разных красивых, изящных вещей. Вот однажды, в том же году осенью, мы с мамой отправились верст за 200, на свадьбу маминой сестры, а отец уехал по делам службы в Читу. И вот ночью явились жандармы и увезли Ковальскую; в Иркутск, как узнали после; а в то время даже фельдшер не знал, что ее увезли. Тайно, точно похищение какое-то устроили... Потом я слышала, что она по дороге сломала как-то ногу. Был еще слух, что она бежала из иркутской тюрьмы. Осуждена она была вместе с Щедриным и революционеркой, по фамилии Богомолец, в Киеве в 81 году, по процессу Южно-русского Рабочего Союза. Щедрин сначала был присужден к смертной казни, но затем отправлен в иркутскую тюрьму. Здесь он вступился однажды за Ковальскую и Богомолец и дал пощечину чиновнику особых поручений при генерал-губернаторе, полковнику Соловьеву; этот бурбон оскорбил их и велел посадить в карцер за разговор через окно с товарищами. За это Щедрина чуть не расстреляли, но потом приковали к тачке и сослали на Кару, откуда он и пытался бежать вместе с Мышкиным и другими в 82 году. Теперь снова увезли в Иркутск мою любимую Елизавету Николаевну. Я так привязалась к ней... Хорошее влияние имела она на меня... Много уяснила в жизни и в человеческих отношениях. Плакала я потом, как безумная, да и мама горевала страшно, все боялась за судьбу ее дальнейшую. Досадно, Оленька, то, что и карточка ее у меня пропала. То-есть, я сама отдала ее по глупой доверчивости, своими собственными руками. Когда мы перебирались уже на Сахалин из Горного Зерентуя в 93 году, с нами от Сретенска до Благовещенска ехал один английский пастор, путешественник, тюрьмы осматривал русские. Вот он и выпросил у меня карточку Ковальской, чтобы переснять ее в Благовещенске. Честное слово дал вернуть и... не вернул.

— Да что ты! Так и пропала? Вот жалость-то! Впрочем, что же делать было? Ты не виновата. Я сама бы отдала. Ведь отказать — значит выразить недоверие, оскорбить человека. Духу не хватило бы отказать... А вот я видела у тебя портрет Фундаминской. Это тоже из Горного Зерентуя?

— Да. Она приехала в ссылку на поселение вместе с мужем вскоре после увоза Ковальской. Попала из-за своей сестры, террористки Любови Гуревич. Это ее девичья фамилия, а звали ее Евгения Яковлевна. Прибыла она из Якутска после известной истории с избиением политических ссыльных. Фундаминский был ранен в живот и приехал совсем больной; с ними же приехал и доктор Фрейфельд, тоже ссыльный. Он ухаживал за Фундаминским, которого сразу же поместили в тюремный лазарет. Затем все они перебрались на частную квартиру. Я бывала у них ежедневно, так как брала уроки у Евгении Яковлевны. Его самого я побаивалась; очень уж был нервный, раздражительный человек... Худой,

бледный, а лицо замечательно красивое, как из слоновой кости точеное. Мы все часто ходили на рудник «Благодатный» в 2 верстах от Горного Зерентуя. Там когда-то работали декабристы. Домик Трубецкого был еще цел; ты видала у меня его фотографию. Евгения Яковлевна была всегда веселая, жизнерадостная; полная противоположность своему супругу. У него же все болела рана, и на этой почве сделался паралич ног. В прошлом году я получила письмо, что он не выдержал этих мучений и отравился. Евгения Яковлевна скоро вышла замуж за д-ра Фрейфельда и теперь живет с ним в Чите, где он, как хороший врач, имеет большую практику.... А вот мы и дома! Вылезай, Оля, пойдем. Коля, ты привяжи лодку и весло не забудь с собой взять, да и ковер тоже.

Подруги стали взбираться по извилистой тропинке.

С гребня крутого откоса приветливо мерцало красноватое пятно большого венецианского окна в мезонине.

В нижнем этаже было темно. Там все уже спали.

— Это мама зажгла в моей комнате огонь; ждет нас... Наверное, пробирать будет! — смеялась Сибирская Роза. — Идем скорее, Оленька.

— Ну, это не страшно. Я даже люблю, когда милая Ольга Ивановна ворчит на нас за разные похождения. Сама пробирает, а глаза смеются, и добрые, добрые такие!

— Да! Ее все ссыльные всегда любили; много хорошего она сделала для них... в мелочах, конечно; но ведь из них и складывается жизнь, особенно в ссылке. Ласковое слово, приветливый жест здесь особенно дороги.

— Видела, видела вас, мореплаватели вы мои... Из окна сашиного видела, — низким грудным голосом заговорила отворившая им двери Ольга Ивановна.

Ее некрасивое, морщинистое лицо, истомленное многолетней болезнью желудка, дышало какой-то особенно подкупающей, печальной лаской.

— Нагулялась, детка моя? Развеяла грусть-тоску свою? Вот и глазки как-будто повеселели!—говорила она, беря в руки голову Сосновской и нежно целуя ее. — Ну иди, иди, золото мое, наверх; там я вам ужин приготовила, и самоварчик сейчас поспеет. Проголодалась, небось? Глядите-ка, ведь 2 часа. Скоро светать начнет. Где это носило вас всю ночь-то?

— Ах, Ольга Ивановна! Я и ночи не видала; так интересно Стана рассказывала про Кару, про Зерентуй... Какие вы обе счастливые, что могли знать таких людей!

— Ну, деточка моя милая! Жизнь-то ведь долгая, долгая. Всего насмотришься, всего натерпишься. Твоя-то жизнь еще начинается только, а ты вон уж куда залетела! Успеешь всяких людей повидать, не хуже тех, что и мы, грешные, видели. А сердечко-то у тебя золотое, птичка моя залетная! Пойдут к тебе люди-то;

самые умные, самые непримиримые,—и те пойдут. Тянет людей к себе ласка и теплота душевная. Какие они там закаленные панцыри ни надевай, какими непримиримыми кличками ни прозывайся, а в глубине, в самой что ни-на-есть глуби душевной, у каждого есть тоска по простой, бесхитростной ласке. Придут к тебе люди-то, придут; самые лучшие, настоящие люди придут. Не скучай об этом. Времени впереди еще—ах, как много!

Проводив подруг в мезонин, Ольга Ивановна пошла присмотреть за самоваром и накормить Колю, который только что притащил в отцовский кабинет похищенную оттуда двустволку и теперь лазил по всем шкафам, отыскивая с'естное.

Братья его, Ваня, Алеша и Миша, а также сестренка Мила давно уже спали.

— Завтра пойду к Плосским,—говорила Сосновская, заплетая на ночь косы и любуясь точеным личиком уже улегшейся в постель Сибирской Розы; белоснежный кисейный полог еще более оттенял ее соболиные брови и крутые черные кудри. — Сегодня утром встретила мадам Форминскую, и она сообщила мне, что у Плосского есть какие-то тревожные вести из Рыковского; там что-то случилось с одним из товарищей. Они просили всех собраться с женами для обсуждения. Обязательно пойду. Как ты думаешь, Стана, что это такое случилось?

— Ах, это ужасная история, Оля! Я не хотела тебя волновать сегодня, в день твоей свадьбы, и потому не рассказывала.

— Что? Что такое? — встрепенулась Сосновская, чувствуя, как у нее начали холодеть руки, и сердце болезненно сжалось.

— Один из политических, по фамилии Домбровский, встретил на улице подвыпившего тюремного чиновника и не поклонился. Тот придрался и сбил с него шапку. Домбровский бросился на него... Ну... в конце-концов его высекли розгами... тридцать ударов дали... и...

— Ну... и...—хрипло вырвалось у Сосновской.

— ...И он ночью застрелился в своей избушке, — закончила Сибирская Роза дрогнувшим голосом, вытирая катившиеся по щекам слезы.

Стиснув зубы, горящими сухими глазами смотрела перед собою Сосновская.

— Вот оно!—вихрем проносилось у нее в голове:—вот оно, то бесправие, та рабская зависимость от пьяного произвола, от самодурства зазнавшихся чинушек, о котором так много предупреждали ее всюду, начиная с самого Галкина-Врасского и кончая командиром «Ярославля». Не кандалы страшны, не тюрьма с вонючими парашками, не каторжные работы в рудниках! Это мучительно только для физической стороны человека.

Но вот это... Этот ужас!.. Под розгами!.. Его связали, раздели... хлещут... Что чувствует он? Сломано, оплевано все... Боже,

какая пытка!! Как жить после этого? Как встречаться с самим собою?.. Лучше—казнь! Все равно одно остается после этого—смерть! Пусть знают эти проклятые, что есть люди, которым смерть легче жизни раба!..

Но какой ужас! Какое надругательство! Неужели это возможно и с Борисом?..

— О!..—застонала она и закрыла лицо руками.

— Оля! Очнись! Что с тобой, голубка? Очнись, родная! Нельзя же так! — хлопотала соскочившая с постели Сибирская Роза, тряся за плечо Сосновскую.

Но та сидела, как в столбняке, с полузаплетенной косой, уронив на колени холодные, как лед, руки.

За окном брезжил рассвет.

ГЛАВА II.

Дом Плосских стоял на одной из боковых улиц поста Александровского; обычного, сибирского типа постройка с высоким фундаментом и мезонином.

Обшитые тесом стены, плотный высокий забор, за которым виднелся обширный скотный двор и другие хозяйственные постройки, придавали домику вид уюта и зажиточности. Разнообразные цветы и кокетливые тюлевые занавески виднелись на окнах.

Солнце яркими бликами играло на чисто вымытых стеклах.

Во всем заметна была заботливая, любящая рука и неусыпное хозяйское око.

Засучив рукава белой английской кофточки, Софья Ильинишна стояла у длинного, до блеску выскобленного стола среди большой светлой кухни и внимательно проверяла лактометром молоко в больших жестяных бидонах.

Перед ней выстроена была целая армия железных тазов, глиняных кринок, горшков и плошек, аккуратно прикрытых стеклянными пластинками.

— А, Ольга Михайловна! Здравствуйте, голубчик! — приветливо обернулась она, увидев входящую через черную дверь Сосновскую.

— Извините, у меня руки заняты. Садитесь вон—там. Я сейчас кончу; необходимо рассортировать молоко: что на сметану, что на сливки, на масло... А в лазарет которое — лактометром проверить нужно... Не достучались, видно, в парадной. Дома никого нет, а я здесь.

— Софья Ильинишна, голубушка! Неужели «это» правда?— волнуясь, перебила Сосновская, даже не вслушиваясь в реплику хозяйки.

— Что это? Насчет Домбровского? К сожалению, правда; грустная, возмутительная правда. Но вы не волнуйтесь так, Ольга Михайловна! Не нужно терять головы, плакать и терзаться. Сделанного не воротишь, а...

— Да разве возможно спокойно относиться к такому событию? Ведь это...

— Постойте, постойте, деточка! Вы просто не привыкли к боевой обстановке; вот и все... Когда в Варшавской цитадели вешали товарищей, я думала, что или с ума сойду, или разобью себе голову об стену. А когда избивали всех нас за протест против устройства виселиц для смертников перед окнами остальных заключенных?.. А полугодовой путь через Сибирь, по этапам, когда больных, измученных людей с насмешкой подгоняли прикладами? А бесстыдные обыски женщин наравне с мужчинами? Издевательства самые невероятные, самые дикие... Все это, Ольга Михайловна, голубушка, пережито, все переиспытано и... сердце... устало страдать. Тут вопрос, голубчик, один: как реагировать, чтобы начальство поняло, что всякое проявление произвола всегда встретит такую отповедь с нашей стороны, которая отобьет охоту к повторению?

Софья Ильинишна выпрямилась, грозно потрясая жестяным тазом, который затем она с треском поставила на стол, и порывисто выплеснула в него остатки молока из бидона.

Ее слегка расплывшаяся, отечная фигура 35-летней женщины теперь точно подтянулась. В усталых карих глазах загорелся огонь, высокая грудь порывисто волновалась, и в уголках слегка вздутых губ запеклась пена.

Все существо ее олицетворяло упрямую, озлобленную непокорность человека, долгие годы имевшего возможность лишь пассивной самозащиты.

Сосновская молча ходила по просторной кухне, опустив голову и крепко стиснув руки.

— Ну вот, я и готова,—с деланной веселостью сказала, наконец, хозяйка, отставляя в сторону последний бидон и вытирая стол чистой холщевой тряпкой с вышитой надписью «для стола».

— Не скучно вам, Софья Ильинишна, каждый день возиться с хозяйством, да еще таким ответственным? — спросила для поддержания разговора Сосновская.—Ведь у вас целая ферма? Десять коров, лошади, поставка молока в лазарет, работник, работница... Мне даже подумать страшно.

— Что ж тут страшного? А скучать положительно некогда, да я и люблю хозяйство. Кроме того, десять тысяч, полученных нами из дома, так быстро стали здесь таять, что и мы, и товарищи рисковали скоро остаться совсем на мели. Надо же как-нибудь пополнять убыль; столько, знаете, всяких прорех кругом... Только ферма и спасает. Вот с местными работницами только очень трудно

работать—неряхи! Все это—либо каторжанки, либо дети каторжанок, а каторга—плохой педагог по части санитарии и гигиены. Тут уж ничего не поделаешь: не их вина. Если бы не помощь Эдмунда и Адама, то просто хоть закрывай лавочку.

— Как? И Эдмунд Александрович, и Адам Фомич коров доят?... Воображаю!—улыбнулась Сосновская.

— Да еще как доят! Не хуже меня, и уж во всяком случае лучше любой работницы. По крайней мере, чисто и во-время, минута в минуту. Вы знаете, как это важно для удоя? Корова в этом отношении прямо, как механизм какой-то. Любит, чтобы ее доили всегда в одно и то же время. Даже полчаса разницы уже имеют значение. Нужно только угадать, вернее проследить, момент наибольшего удоя и затем уже не пропускать его. И знаете, что интересно: в этом отношении коровы очень индивидуальны...

Сосновской грозила целая лекция по совершенно чуждой ей специальности, но в это время в кухню вошли трое мужчин.

— А, Ольга Михайловна! Вот и отлично, — приветливо улыбаясь, заговорил высоким тенором хозяин, небольшого роста блондин лет 38, круглый и цветущий, в легкой чесучевой паре, кладя портфель на окно и пожимая обе руки Сосновской.

Как знаток права, он высоко ценился в канцелярии губернатора, где под видом писца исполнял самые ответственные работы, и потому служил великолепным громоотводом при всех столкновениях политической колонии с тюремной администрацией.

Следом за ним молча протянули загорелые руки Серошевский и Поплавский.

Оба служили писарями в окружном управлении и кончали занятие в одно время с Плосским.

Их одинаковые пиджаки из серого люстрина, высокие охотничьи сапоги и типично-польские лица с длинными усами, подстриженной бородкой и широкими висками придавали им какое-то родственное сходство.

Оба слегка конфузились перед хорошенькой гостьей за свой потертый, взлохмаченный вид и под шумок собирались улизнуть в мезонин, где обитал Серошевский, но хозяйское око Софьи Ильинишны мигом разгадало их планы.

— Что, до-лясу, панове, собрались? Цо? Ишь яки прентки! Ничего, ничего! Адась, поставь всю посуду с молоком в подвал; пан Поплавский поможет тебе. Потом вымойте руки... полотенце вот это! И обедать пора. Идемте, Ольга Михайловна! Обедали уже? Ну, ничего, от малины со сливками, наверное, не откажетесь.

К шести часам уютные комнатки Плосских уже кишели народом. Налицо была почти вся колония.

Не было только Бугайского с Кузиным, еще с вечера ушедших в хребты искать пропавшую лошадь Бугайского.

Разбившись на группы, товарищи горячо обсуждали происшествие.

— До каких пор, спрашиваю я вас, будем мы терпеть?—гудел в одном углу зычный бас пана Форминского.—Аль-бо рабы мы? Пахолки крепостные ясновельможных панов чиновников? Чи що?— Он потрясал седеющей гривой волос, вздымал руки и топорщил нависшие усы, мешая по обыкновению русскую речь с польской и украинской.

— Молчи, Адольф, не кипятись!—дергала его за рукав пани Форминская.—Опять вперед лезешь, як хлопец малый.

— Позвольте, Адольф Станиславович, не горячитесь! Вы ставите вопрос совсем не в той плоскости,— докторальным тоном заметил ему худой, изможденный блондин, нервно пощипывая редкую бородку и строго уставив на него водянистые бесцветные глаза. Темный костюм, сидевший на нем, благодаря худобе, как на вешалке, но вполне приличный и застегнутый доверху, редкие, зачесанные назад волосы над высоким лбом с заливами у висков и золотые очки придавали ему вид не то учителя, не то корреспондента солидной провинциальной газеты.

— Н-ну!? — оторопел пан Форминский, откидываясь назад и разводя руками. — Какие еще такие плоскости нужны вам, пан Хроновский?

— У меня есть имя, Адольф Станиславович, — добавил тот, покачивая головой в такт раздельно-произносимым словам.

— Ну, виноват, черт меня побери вместе и с вами, пан Хро..,—ах, сто дьяблов,—т.-е. Станислав Филиппович!..

— Обожди, жона! Ну, чего за рукав меня лапаешь? О каких плоскостях говорите вы, дорогой мой? Вопрос о том, терпеть нам или не терпеть, и до каких пор, давно изжит и вовсе не стоял на очереди. Ясно, что не терпеть! Вопрос в том, как реагировать, что именно предпринять с наибольшими шансами на успех, чтобы отбить охоту к повторению подобных историй с нами.

— Что предпринять?—вскипел опять Форминский. — Как что? Убить, как собаку! Пристрелить, и делу конец! Небось, и другие хвосты подожмут, пся-кревь! Лайдаки пшеклетные!

— Позвольте, позвольте! Так нельзя рассуждать! Как можно проповедывать подобные дикарские приемы? Мы не зулусы и не кавказские абреки, а культурные люди, и наш долг показать...

— Ничего подобного! Террор, и только террор самый беспощадный может убедить этих лайдаков. Мы покажем им, на чем свинья хвост носит; вот наш долг, коханый мой пан Хро... Тьфу!..— Станислав Филиппович!—Тот только рукой махнул.—Вот извольте радоваться, Лев Яковлевич!

Подошедший Штернберг перекосил рот, затряс головой и, заикаясь, спросил—в чем дело.

Теперь они уже вдвоем принялись отделывать старого повстанца.

Тот не сдавался. Поднялся страшный шум, привлекший общее внимание.

— Господи! Так нельзя; ничего у нас не выйдет!—закричал, наконец, Плосский, вскочив на стул и махая носовым платком.— Вношу предложение избрать председателя.

— И секретаря тоже,—добавил Хроновский.

— Не нужно секретаря, — зашумели кругом: — к чему комедии?!

— Председатель нужен, как пособие для фиксации общего внимания на разбираемом вопросе. Секретарь же при настоящем положении вещей излишен, — ввернул своим обычным книжным языком Штернберг.

— Именно! — подтвердил Мейсснер, откидывая со лба свои темные кудри. — Надеюсь, мы не отопремся от своих постановлений, а отчетностью никому не обязаны.

— Итак,—заключил Плосский, все еще стоя на стуле,—давайте кандидатов.

— Да брось ты, Эдмунд!..—заревел пан Форминский.—Садись за стол и орудуй! Каких еще кандидатов нужно?

— Просим, просим!—раздалось отовсюду.

— Прошу занять места, — садясь за преддиванный столик, строго заявил председатель. — Успокойся, Адольф, и перестань бурчать. Уймите его, пани Форминская! — Господа, происшествие известно вам, и потому повторять его не буду. Необходимо не только немедленно вынести решение, как на него реагировать, но и сегодня же привести его в исполнение. В таких случаях быстрота доказывает сорганизованость, и это больше всего пугает начальство, независимо от сущности протеста. Предлагаю ограничить ораторов двумя минутами. Принято единогласно. Кто первый? Вы, Василий Петрович!

— Как выяснилось из предварительного обмена мнений,— начал Бражников, погладив себя по лысеющему лбу и поверх очков оглядев собрание,—мнения распадаются на два отдела: один за террористическое воздействие, другой за коллективный протест перед губернатором. Интересно выяснить большинство, тогда видно будет, о чем говорить, и можно приступить к выработке плана действий.

— Товарищи! Вы слышали предложение? Кто за террор? Поднимите руки. Кто против? Подавляющее большинство. Итак, к делу. Предлагаю сначала составить форму протеста. Возражений нет? Разрешите предпослать пожелание: редакция должна быть краткой, определенной и вполне доступной для малокультурных мозгов нашего помпадура. У кого есть готовый проект? Ага! Хроновский, Мейсснер, Бражников, Штернберг и я сам на загладку. Прошу поочередно.

После получасовых прений, редакция протеста была скомбинирована, и депутация избрана в составе пяти человек, предлагавших проекты.

Остальные должны были ждать результатов на улице, у губернаторского дома, чтобы в случае нужды разделить участь своих депутатов.

— Ваше пр-во! Так что политика там спрашивает, можно ли то-есть вас видеть!—доложил вестовой, появляясь в дверях губернаторской гостиной.

— Какая политика? Что ты мелешь?—с притворным недоумением спросил генерал, откидываясь на кресле и высоко поднимая седые, облезлые брови.

Он с томительным чувством неприятной неизбежности целый день ждал этого визита и положительно не мог себе представить, во что он выльется.

— Ну, что я им отвечу?—мучительно думал генерал, блуждая глазами по потолку,—по совести говоря, поступок этого пьяного хама с Домбровским возмутителен. Но ведь инструкция определенно гласит о полном уравнении политических с уголовными. Что же я-то могу?

— Чорт знает что такое!—громко выругался генерал.—Ну, чего стал истуканом? Иди! Скажи—сейчас выйду. Стой! Кто там пришел? Фамилии знаешь?

— Так точно. Штенбер, Бражников, Василь Петрович, Иван Иванович, так что Мейсснер, ваше прев-во... Еще Хроновский и господин Плосский с ними.

— Та-ак!—протянул генерал.

— Плосский тоже тут... Гм!—он озадаченно пожевал губами, привыкнув видеть в своей канцелярии этого человека, такого тонкого знатока законов, такого осторожного и толкового работника; он никак не мог сразу освоиться с мыслью встретить его в рядах демонстрантов.

— Видишь, видишь?—сдавленным шопотом заговорила сидевшая у стола с вязаньем Евдокия Петровна, когда вестовой вышел из комнаты.—Насажал себе на шею этой политики по канцеляриям. Вот тебе благодарность ихняя! Там их целая банда под окнами стоит. Еще скандал сделают, а то бомбу подкинут...

— Да ты что? Очумела, Авдотья? Какие на Сахалине бомбы? Кто их бросать в меня будет? Да и за что?.. Совсем ополоумела! Вот уж кипит в тебе эта самая ненависть... Тьфу!

Генерал шумно отодвинул кресло и вышел в приемную, с досадою хлопнув дверью.

— Что привело вас ко мне, господа, в такое неурочное время? Девять часов скоро, и прием давно закончен.

Он вытащил из-за борта серой тужурки массивные золотые часы, мельком взглянул на них, позабыв открыть циферблат, и

долго прятал их обратно, чтобы как-нибудь скрыть свое замешательство.

— В чем дело? Случилось что-нибудь?

Штернберг выступил вперед и сделал невероятную гримасу.

— Мы пришли,—начал он, страшным усилием воли преодолев обычное заикание, — спросить вас от лица всей колонии политических ссыльных — известно ли вам, что помощник начальника Рыковской тюрьмы в пьяном виде дал пощечину нашему товарищу Домбровскому и сбил с него шапку за недостаточно почтительный, по его мнению, поклон? Известно ли вам, что, когда обезумевший от оскорбления человек инстинктивно стал защищаться, его схватили, затащили в тюрьму и дали 30 розог? Известно ли вам, что Домбровский застрелился в ту же ночь? Известно ли вам, что подобного рода поступки чиновников, хотя бы даже сахалинских, да еще в пьяном виде, являются подсудными, как дикий произвол и превышение власти? Известно ли вам, наконец, генерал, что замалчиванье подобных фактов представителями высшей администрации квалифицируется судом, как бездействие власти?

По мере того, как говорил Штернберг, генерал сначала с достоинством кивал головой, расправляя на обе стороны длинную седую бороду, но потом лицо его стало наливаться кровью; сначала покраснели уши, затем вспыхнули щеки, а нос стал сизым и начал издавать сопенье весьма определенного характера.

Наконец, генерал побагровел весь, как свекла, выкатил бесцветные старческие глаза и разразился.

— Так вот как!—хрипло выкрикивал он, потрясая перед собой обеими руками.— Вместо извинений за бестактность вашего товарища, вы пришли сюда грозить мне!... Да! Из-ви-не-ний! — яростно подчеркнул он, заметив протестующие жесты депутатов.—Вы все не хуже меня знаете, что так называемые политические по закону никакими преимуществами перед уголовными не пользуются! Вам прекрасно известно правило, требующее снятия шапки перед тюремным чиновником! Вы обязаны считаться с этим требованием. Да-с! А также заранее считаться с последствиями его неисполнения. Вы мните себя особо-развитыми, особо-культурными людьми... С пренебрежением изволите смотреть на рядовых, честных исполнителей своего долга перед отечеством и престолом... И клеймите их, как преступников, за честную, неукоснительную исполнительность в этом долге! Наконец, вы открыто, в глаза, грозите чуть ли не судом мне, военному губернатору острова, вашему высшему начальнику! Это как по вашему квалифицируется? Вы знаете, что я могу приравнять это к бунту и чем это для всех вас пахнет? Тюрьмой! Да-с! Кандальной тюрьмой-с!!

Генерал задохся и, тяжело отдуваясь, принялся вытирать вспотевший лоб, нервно прикладывая к нему скомканный носовой платок.

— Позвольте, генерал! — не выдержал, наконец, Бражников, давно порывавшийся броситься в атаку. — Вы грешите явным преувеличением. Во первых, мы никого не клеймили и не собираемся клеймить, как преступника, за честное исполнение долга. Это чересчур сильно сказано. Мы только отметили, что почин к скандалу был сделан пьяным тюремным чиновником. Не поклониться Домбровский не мог уже по одному тому, что живет здесь, как и все мы, почти шесть лет, и все местные чиновники давно обратились для него в простых шапочных знакомых.

Генерал опять закипел.

— Виноват! Дайте мне довести мысль до конца. Поклон был сделан обычным образом; это несомненно и подтверждается свидетелями. Но чтобы входить в обсуждение того, достаточно или недостаточно он почтителен, я бы на вашем месте, генерал, постеснялся это доверять пьяному человеку... А что ваш рядовой и честный блюститель тюремных циркуляров был пьян, это тоже подтверждается свидетелями.

В начале своей речи Бражников еще кое-как справлялся с кипевшим в нем негодованием, но, чувствуя, что больше невмоготу, приостановился и крепко дернул себя за бороду, что всегда служило у него признаком сильного возбуждения.

— Извольте понять раз навсегда, что эти циркуляры для вас обязательны... И нечего иронизировать на этот счет! — опять вспыхнул генерал. — И потом, что за тон в разговоре со мной вы себе позволяете? Что это за «генерал», «генерал»? Что мы, знакомые с вами? Приятели? Вы еще скоро меня Володей называть станете и по плечу хлопать! Раз навсегда зарубите себе на носу, что для вас я «ваше пр-во», как и для всякого другого сосланного сюда преступника, в противном случае...

— Опять ошибаетесь, генерал, — холодным тоном перебил его Штернберг.—Как я, так и мой товарищ Бражников, взявшие на себя обязанность беседовать с вами, сосланы сюда административным порядком, без суда и следствия, то-есть не законным, а насильственным путем. При этом все наши гражданские права и преимущества за нами остались, ибо их отнять может только суд. Осталось и право называть вас так, как назвал бы вас любой человек, не имеющий отношения к воинскому уставу и казарме,—на воле.

— Ха-ха-ха! — иронически захохотал генерал чересчур громким деланным смехом. — Так вот почему именно вас двоих выпихнули вперед ваши бунтари! Умно! Умно! На безнаказанность понадеялись, значит? Так, значит, «генералом» принято называть меня «на воле», а пр-вом только в казармах? Так, что ли? Ну, так я охотно предоставлю вам возможность привыкнуть к этому непривычному для вас титулу.

Он направился к висевшему на стене приемной телефону и позвонил.

— Вы про казармы вспомнили, а про тюрьму-то и забыли... Алло! Станция? Дать начальника тюрьмы... Губернатор. Да, да. Квартиру, конечно. Здравствуйте, здравствуйте! Примите личную телефонограмму; номер летучий; возьмите хоть 68-й по числу моих лет. Хе-хе-хе!..

«Завтра отправить в кандальную политических ссыльно-поселенцев Штернберга и Бражникова за дерзкое поведение по отношению ко мне в моем лично присутствии».

— Просим и нас включить в ваш список!—хором отозвались остальные депутаты; мы вполне солидарны с мнениями наших товарищей.

— Ага! Я так и знал! Ничего, не стесните... Места хватит на всех... Алло! Вы слушаете? Тут еще есть желающие, примите и этих: Хроновский, Мейсснер и Плосский. Да, да! Плосский. Чему вы удивляетесь? Они все на один покрой. Да, да! Больше ничего. До свиданья.

— Ну, вот вам и «генерал», — обернулся он к депутатам, поглаживая себе бороду дрожащими от сдержанного гнева пальцами и криво улыбаясь.—А то «права» какие-то! Их здесь у вас нет! Поняли? Здесь я — закон и права! Скажите спасибо, что даю вам время собраться. Идите!

Генерал повернулся и без поклона, величественно, вышел из приемной.

В глубине души у него ворочалось сознание какой-то содеянной им гадости, и это злило его.

Он усиленно старался думать, что дал хороший урок этим зазнавшимся политическим, и что он очень хороший администратор, строгий, но гуманный.

— Ведь, действительно, я мог бы всех их отдать под суд за хулу против власти в моем присутствии... Я мог бы прямо отсюда под конвоем отправить их в кандальную... И не сделал этого! А кто мог бы помешать мне?

И, действительно, никто.

— Ну, и помпадур! Щедринский тип какой-то!

— Чорт знает что такое! — и негодовали, и, вместе, смеялись ссыльные, слушая рассказ о результатах депутации.

— Закон — это я! Почти-что: l'état c'est moi! Вот уж не из тучи гром!

— Интересно, как выпучит глаза этот доморощенный Людовик XIV, когда завтра, вместо пятерых, мы всей колонией явимся к начальнику тюрьмы с требованием посадить нас всех в кандальную.

— Обязательно так и сделаем. Заваривать кашу, так заваривать круто!

— С пятерыми могут сделать что угодно, а со всей колонией постесняются. Этого ведь не утаишь. Скандалом большим пахнет... Как раз намекнут на неспособность к административному посту.

— Да! В затруднительное положение попадет сатрап вавилонский.

Ссыльные шли плотной гурьбой по темным улицам, перекидываясь шутками и веселыми репликами.

Но на душе почти у всех было тревожно и скучно.

Завязывалась какая-то история, в которой они во всяком случае должны были играть страдательную роль.

У некоторых, правда, у немногих, были семьи... Этих было жаль больше всего.

Но у всех было свое хозяйство, или какое-нибудь другое привычное дело.

Наконец, обжились на воле за 5 лет... А теперь опять кандальная... И... очень смутное будущее.

Смеются, шутят, а сердце невольно сжимается.

— Человек есть только человек, следующая ступень за животным, — думает замыкающий шествие Хроновский, проверяя свои собственные ощущения.

Месяц выплыл из за далеких гор, и четко вырезались их черные, зубчатые силуэты.

Хор цикад и лягушек заполнял воздух нескончаемой, какой-то истомной трескотней.

Кое-где сквозь щели закрытых ставен пробирались из окон домов узкие полоски красноватого света, и с тоскливым подвываньем перекликались в Малой Александровке ездовые собаки.

Мало кто спал из политических в эту тревожную ночь, а на утро они толпой явились к начальнику тюрьмы с ультиматумом: или пусть губернатор отменит свое вчерашнее распоряжение, или сажает в кандальную всех без исключения.

Хлопнув ладонью по столу и крепко выругавшись, вскочил генерал с кресла и в смущении заходил по служебному кабинету своей канцелярии, когда начальник тюрьмы лично явился доложить ему о необыкновенном происшествии.

— Я вижу, куда гнут эти канальи! — бормотал он про себя, грозя кому-то указательным пальцем.—Раздуть хотят дело, чтобы следствие вызвать... Наверное, уж донос полетел Кононовичу... Надо было сейчас же сделать распоряжение на почте—всю исходящую корреспонденцию направлять ко мне... Впрочем, и теперь еще не поздно... Парохода все равно еще нет... Ранее двух недель не уйти почте... Да! Так вот-с, Петр Алексеевич! Просятся в кандальную, говорите? Ну что ж, уважим эту просьбу. Дайте конвой, и пусть идут. Разместите по камерам с уголовными вперемежку... Дальше видно будет. Ну, с богом! Да, еще одно: брить пока не надо и на работу не посылайте. Это всегда успеется.

Через полчаса широкие ворота тюрьмы для испытуемых гостеприимно поглотили всю политическую колонию поста Александровского и его окрестностей.

А по окончании занятий в канцелярии, военный губернатор острова, вернувшись домой, нашел у себя в приемной всех жен посаженной в кандальную политики.

— Плосская, Форминская, Шмаус, Словик, Гюбшер...—поочередно раскланивались они с остолбеневшим генералом.

Жены были все вольноследующие, «свободного состояния», одеты не только прилично, но даже изящно, вооружены все до одной зонтиками, на которые генерал покосился не без некоторого опасения, и... и сделать с ними ничего нельзя было.

Дамы—народ такой, с которым лучше не связываться даже военному губернатору.

В кандальную их не посадишь, в шею не вытолкаешь, а чуть что—поднимут такой скандал, что жизни не рад будешь.

Как раз слетишь с высоты прямо в об'ятия прокурора, да еще чего доброго с синяками на физиономии.

Чорт их знает, что у них на уме!

— Чем могу служить?—приятно улыбнулся генерал, останавливаясь в дверях приемной. — Ах, да, насчет этого? Не могу, медам! Не могу-с! Не имею права отпустить их! Вот и Менандр Яковлевич подтвердит вам это, — кивнул он головой на своего ад'ютанта, высокого, средних лет, худого и болезненного человека в какой-то фантастической полу-тюремной, полу-офицерской форме, с аксельбантами через плечо и со шпорами на лаковых сапогах.

Тот щелкнул каблуками и поклонился:

— Так точно, ваше пр-во!

— Ну вот, видите?... Дело это очень серьезное, медам... И я только по доброте своей ограничиваюсь дисциплинарным взысканием... Мог бы под суд отдать, и тогда...

— Но что же противозаконного в том, что люди, хотя бы и ссыльные, пришли к вам с жалобой на произвол ваших подчиненных, да еще со смертным исходом? К кому же тогда обращаться, кроме вас? Прямо к прокурору, или к генерал-губернатору?

— Ну, вот, видите? И вы туда же? Прокурор... Генерал-губернатор... Что это? Угрозы? И притом пустые угрозы... Как еще посмотрит прокурорский надзор на «действия скопом», произведенные вверенной моему наблюдению колонией политических ссыльных, на предмет сопротивления отданным мною распоряжениям? А вы знаете, чем пахнет бунт по законам военного суда? Вы знаете, что в моей власти требовать здесь именно военного суда? Нет, нет, нет! И слышать ничего не хочу! Пусть посидят и поразмышляют. До свиданья! Менандр Яковлевич, приема сегодня больше не будет.

Генерал вышел.

— Вы слышали, медам?—опять щелкнул шпорами ад'ютант, прекрасно знавший всех этих дам и чувствовавший себя страшно неловко.

— Ну, и пускай не будет,—заявила Плосская, плотнее усаживаясь в кресло.—Мы все равно останемся здесь и будем сидеть, пока генерал их всех не выпустит.

— Но это же невозможно, медам!—даже отшатнулся ад'ютант.—Вам необходимо уйти. Это в ваших же интересах—не раздражать его пр-во... Наконец, он может дать приказ очистить приемную от посторонних лиц.

— Что же он? Военную силу применит? Прикладами нас вытолкает? Пусть-ка попробует!—так и вспыхнула мадам Форминская, поднимаясь со стула и угрожающе наступая на ад'ютанта.

Поднялись и остальные.

Ад'ютант махнул рукой и поспешно ретировался.

— Ваше пр-во! Они все еще сидят там и не желают уходить,—скороговоркой доложил он усевшемуся уже за обед генералу.

— Как не желают?—удивился тот, опрокидывая в рот большую рюмку рябиновки. — Не желаете ли пропустить, Менандр Яковлевич? Присаживайтесь! Евдокия Петровна, положи-ка нам солонинки с хреном... Так не желают, говорите вы? Чего же им еще нужно?

— Ждут более милостивой резолюции вашего пр-ва,—смягчил ад'ютант заявленное ему слишком категорическое требование.

— Гм! Ну, и пускай сидят,—после некоторого раздумья решил генерал.—Не гнать же их в шею, на самом деле... Посидят, посидят... Надоест и уйдут. Прикажите только наружному часовому никого не впускать в приемную; выпускать можно, а впускать ни в коем случае.

Наступил вечер.

«Происшествие» давно уже стало известно всему губернаторскому дому. Прислуга украдкой, на цыпочках подбегала к дверям приемной и, поочередно прикладываясь глазом к замочной скважине, обменивалась впечатлениями.

— Сыдыт! Пять барина сыдыт... Вв-а!—сообщал повар-грузин, потирая горбатый свой нос, слегка пострадавший от неосторожного соприкосновения с замочной скважиной.

— За что же это их посадил индюк-то наш?—вопрошала генеральского вестового сгоравшая от любопытства прачка.

Но тот методически достал папиросу, медленно постукал ее о ноготь большого пальца, еще медленнее закурил и ловким щелчком пустил зажженную спичку в виде ракеты через всю кухню.

— Сами сидят. Никто их не сажал,—небрежно уронил наконец, с непроницаемым видом попыхивая папиросой.

— Са-ами!—всплеснула руками прачка; а кучер, сидевший на окне кухни, перестал расчесывать широким гребнем смоченные квасом волосы и, помотав головой, сплюнул длинной струйкой прямо в нос доверчиво смотревшей на него генеральской кошки.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ Инв. №

Та фыркнула, поставила хвост дудкой и бросилась к выходу.

— Бабижал, бабижал—хвост трубам держит... Хэ! — подхватил повар, с интересом наблюдавший эту сцену.

Кучер захохотал.

— Вот погоди ужо!—напустилась на него вертлявая горничная с остреньким, в веснушках носиком. — Вот увидит Авдотья Петровна теперь кошку свою, она задаст тебе.

— Ой боюсь, боюсь!—заревел кучер, пытаясь облапить горничную. — Спрячьте меня, Глашенька! Подолы у вас очень широкие, ишь, как фуфырятся; натрухмалены должно.

— Отстань, идьёт лошадиный!.. Расставил копыта свои... Платье сомнешь! Вот, как смажу...

— Гла-аша! Глафи-ира!—донеслось из столовой.

— Ну, иди, мамзюлька! Твое счастье!—напутствовал кучер улыбавшуюся девушку, при одобрительном смехе остальной компании.

— Глаша! убери со стола. Спать пора... А эти что? Сидят еще? Наверное, ведь, глядела в щелку... Сидят?

— Сидят, барыня Евдокия Петровна. Сидят. Только воду из графина, почитай, всю выпили,—почему-то шопотом и оглядываясь на генерала, сказала горничная.

— Ничего! Пусть посидят!—буркнул тот, сладко зевая и поднимаясь из-за стола. — Ну, я пойду. Постель готова?

— Так точно. Пожалуйте, ваше пр-во! Все приготовлено.

— Пусть хоть до утра сидят... Посмотрим—кто кого!

И генерал грузно вышел из комнаты, чувствуя себя совершенно разбитым после дня, столь богатого приключениями.

Между тем добровольные заключенные сдвинули кресла и довольно сносно устроились на ночь.

— Представим себе, что мы на вокзале в ожидании поезда,— шутила Плосская.

— Да! Тебе легко смеяться, Зося!—озабоченно ворчала пани Форминская, укладываясь поудобнее на диване.—У тебя нет детей, а Эдмунд с Адамом в кандальной... дома никто не плачет... А у меня...—и она только махнула рукой.

— А что у тебя особенного? Дети большие; за малюткой присмотреть есть кому... В чем дело? Спи лучше. На завтра еще силы понадобятся. Во всяком случае, я скорее сдохну здесь от голода, но не двинусь с места, пока их не выпустят.

Остальные только вздохнули, хорошо понимая, что иного выхода все равно нет: иль со щитом, иль на щите; а дети были у всех, кроме Плосской.

— Ну, что? Ушли?—было первым вопросом генерала, как только он проснулся на другое утро.

— Никак нет! Сидят, ваше пр-во!—осклабился вестовой, накидывая на генеральские плечи легкий халат и подвигая вышитые туфли.

Генерал тревожно заскоблил свой остроконечный лысый затылок.

— Ну, и бабы!—вырвалось у него.—Чего смеешься, дурень?

Генерал уселся опять на постель и досадливо плюнул.

— Известно, баба, ваше пр-во, она и есть баба. Где чорт не сможет, туда бабу пошлет,— попробовал вестовой сделать философский подход к щекотливому положению своего повелителя.

— Пошел вон!—строго воззрился на него тот.—Сходи к ад'ютанту Попову и скажи, чтобы не беспокоился; сегодня утреннего приема не будет. Я прямо пройду в канцелярию.

Но не клеилась у него работа в канцелярии.

Доклады начальников отделов казались бестолковыми и ненужными. Правитель канцелярии, с его отечным лицом и остановившимися глазами, выглядел положительно ненормальным.

Полицеймейстер Ипатов раздражал завитыми колечками своих усов и томными глазами провинциального льва и сердцееда.

Все канцелярское священнодействие казалось пошлым и, главное, никому ненужным ломанием какой-то комедии.

— Чорт знает что такое! Нужно же было поместить телефон в приемной! Теперь даже справиться не могу, что там делается,—с досадою думал генерал, машинально подписывая разложенные перед ним проекты приказов.

Наконец, он не выдержал и, отговариваясь нездровьем, отправился домой.

— Видели?—подмигнул Володя Губанов своим сослуживцам на проходившего через общую канцелярию губернатора.—В осадном положении находится наш патрон и повелитель; на вылазку отправился.

— Хо-хо-хо!! — заржали кругом. — На вылазку! Тут сам Суворов спасовал бы! Ха-ха-ха!

— Держу пари, что наш вояка сдаст позиции и отпустит «политику»!

— Нет, не отпустит! Упрямый казак!

— Нет, отпустит!

— Пари на бутылку коньяку «Мартель», хочешь?

— Идет! Господа, разнимайте.

— Ну что, Авдотья?

Губернатор, кивая по направленю к приемной, шопотом осведомился:

— Сидят? Ведь уже 4-й час. Скоро сутки будут.

— Сидят, Владимир Димитриевич!—отвечала та.—И знаете что:—я насмелилась, зашла туда к ним; спрашиваю, может покушать принести чего, или лучше домой, мол, пойдете?..—Не беспокойтесь, говорят, о нас; нам, говорят, здесь очень удобно и никуда мы не тронемся... хоть целую неделю... Слыхали, мол, как люди на Каре 13 суток ничего не ели и живы остались? Мы тоже, мол,

не умрем...—Я уж не помню, как и выкатилась оттуда! Шутка ли, чем грозятся?!

— Гм! Да-да!—неопределенно протянул генерал.—Скажи вестовому, чтобы за Менандром сходил.

— Напрасные опасения, ваше пр-во, — утешал спешно явившийся ад'ютант,—до серьезного чего-нибудь дело, конечно, не дойдет, а небольшая голодовка даже врачами рекомендуется... Хе-хе-хе... Но все же, если ваше пр-во спрашиваете моего мнения, то я советовал бы отпустить политику теперь же, пока наше положение не получило еще широкой огласки... Пойдут, знаете, сплетни, доносы, раздуют скандальный процесс, подхватят газеты, еще за границей пропечатают, и тогда...

— Мм! Пожалуй, вы и правы...

Генерал задумчиво заходил по кабинету, заложив руки за спину.

— Да! Тут альтернатива такого рода: или идти до конца, что называется ва-банк, т. е. вывести их силой под конвоем и самому послать заявление прокурору и генерал-губернатору; или обратить все дело в форму отеческого внушения и этим отрезать путь каким-либо злостным толкованиям...

— Совершенно верно-с, ваше пр-во! — щелкнул шпорами ад'ютант.

— Да!.. Первое, пожалуй, рискованно. Главное, Кононович— дядя Турского, а тот мирволит всей этой шайке, да и Кононович слабоват на этот счет. Недаром его с Кары убрали в свое время.... Д-да!.. Так вот-с, дорогой мой. Пойдите к этому бабью проклятому и скажите, чтобы убирались к чортовой матери! Завтра, мол, с утра вся банда ихняя будет выпущена. Но не потому, мол, что... и так далее, а просто, мол, срок закончился, назначенный мною для внушения этим... этим...

Генерал покрутил в воздухе пальцами.

— Ну, одним словом, сами там знаете, что сказать в этом роде...

Через полчаса ад'ютант вернулся.

— Ну, что? Ушли?—бросился к нему генерал.

— Сидят, ваше пр-во!

— Что-о?!—так и отскочил тот.—Сидя-ат? Какого же еще рожна им нужно?

— Просили передать вашему пр-ву, что будут сидеть, пока не увидят всех своих на свободе.

— Вот аспиды! Вот чортовы бабы!—горячился генерал, бегая по кабинету и обмахиваясь платком.—Ведь это... Это—анекдот прямо! Для «Исторического Вестника» анекдот! Ведь засмеют нас, если узнают!

— Не узнают, ваше пр-во! Эти будут молчать в собственных своих интересах, а другие... никто не посмеет распространяться...

— Вы думаете? Ну, все равно. Возьмите блок-нот там, на столе. Пишите: «Начальнику Александровской каторжной тюрьмы. В виду проявленного временно заключенными в кандальном отделении политическими ссыльными раскаяния и неотступных просьб их семейств, предписываю освободить их завтра утром, произведя на будущее время должное внушение». Давайте, я подпишу. Вот. Будьте добры сейчас же вручить Петру Алексеевичу. И завтра

Приговоренные к смертной казни за побег с убийством конвойных.

чтобы я не слышал обо всей этой истории. Вот до коих дошло!— и генерал широким жестом резанул себя рукой по горлу.

— А эти... эти... — он не находил достаточно сильных выражений,—пусть сидят до утра! Чтобы чорт их побрал! Часовому скажите опять: к ним никого, а отсюда—скатертью дорога!

Всю ночь проворочался генерал на постели. Все в нем кипело от сознания собственного бессилия, и сон бежал от глаз.

Уже светало, когда он, наконец, не выдержал; тихонько поднялся с кровати, накинул халат и босыми ногами прокрался в коридор к двери приемной.

Стараясь не скрипнуть половицей, долго стоял он, как длинное привидение, чутко прислушиваясь к дружному храпению спящей в кухне прислуги.

Затем осторожно нагнулся, придерживаясь обеими руками за стены, и прильнул глазом к замочной скважине. Яркий свет фонаря, стоявшего как-раз против окна приемной, позволил ему рассмотреть скорченные фигуры женщин, в неестественных позах прикорнувших на сдвинутых креслах и на длинном кожаном диване.

Сквозь окна виднелись первые мутно-багровые проблески утренней зари, и слышались тяжелые, мерные шаги часового.

Генерал пил свой утренний чай, когда в приемной раздалось пронзительное трещание телефонного звонка. Послышался разговор, громкие возгласы, хлопанье выходной двери, и затем все стихло.

Забыв свой сан и возраст, в волнении опрокинув стакан с чаем, генерал вскочил с места и почти побежал в приемную. О, счастье! Никого нет. Пусто. Осада снята.

С сияющим видом потер он руки и огляделся кругом, точно желая удостовериться, не спрятался ли здесь еще кто-нибудь из этого проклятого бабья.

Опять затрещал телефон.

— Алло! Я слушаю. Губернатор... Ну!.. Выпустили? Инцидентов не было? Надеюсь, сделали надлежащее внушение?.. отлично, благодарю вас.

Генерал дал отбой и, с облегчением вздохнув, опять потер руки.

Володя Губанов выиграл бутылку коньяку «Мартель».

ГЛАВА III.

Тиманов давно уже лелеял мечту бежать с Сахалина. Но с тех пор, как ушли бродяжить Залетный с Мирным, эта мысль положительно не давала ему покоя.

Он посвятил в свои планы племянника и неотступно приставал к Сосновскому с просьбами бежать вместе.

— И чудак же Вы, Борис Иванович,—с досадой восклицал он.— Сами же говорите, что тысячи верст исходили по лесам и Олонецкой губернии, и Архангельской, и к Белому морю ходили—не ближний, чай, путь от Питера и Финляндии исколесили, а теперь какие-нибудь несчастных 400 верст пройти боитесь до Погибей... Ведь там всего 7 верст шириной море-то, сами сказывали... Перемахнем как-нибудь; лодку сопрем у гиляк, а то и на бревнах можно.. А там—Сибирь... и... поминай, как звали. Паспорта выправим, и на Кубань, к нам. Ах, места там у нас! И привольные же, Борис Иванович!

Дальше, обыкновенно, шло восторженное описание кубанского приволья.

— А нето, на Кавказ хватим... Там у меня горцы знакомые есть, кунаки... Эх, заживем... Ну, чего боитесь? Люди мы с племяшем верные, в беде не выдадим; сами, чай, знаете... Двигаем? А?

— Да поймите вы, Степан Никанорович, что не дороги я боюсь, не опасностей и лишений... видывал я их... А не могу невесту свою бросить здесь на с'едение разным Ипатовым, Губановым и К°. Поймите, что губернатор, неизвестно за что, вз'елся на нее сразу же после приезда... Из приюта с места прогнал, оскорбляет какими-то пошлыми подозрениями... а тогда... Да, ведь, если я уйду, он к суду ее привлечет моментально за содействие побегу; в тюрьму запрячет... ведь он царь и бог здесь, а у этих Ипатовых и других сахалинских развратников и негодяев руки тогда будут развязаны. Неужели вы думаете, что я способен из-за личных побуждений обречь ее на такую пытку? За что? За то, что любила она меня? все для меня бросила: и семью, и любимое искусство, и возможность в нем совершенствоваться—все, все оставила...

— Эх!—с досадой махал рукой Тиманов.—Барские все это рассуждения. Не казак вы, Борис Иванович, вот что. По-нашему, по-казацки, так: ежели баба пристала к тебе, что банный лист, то пусть и терпит до конца казацкую долю, пусть идет за мной, куда я пойду... Сейчас не может,—потом приедет. Все вынесет, все вытерпит,—потому живучи они, как кошки,—и приедет. Такая баба—копье неизменное казаку, а все же не товарищ. Потому, голова—я, а не баба... Поняли?

— Все это хорошо было в каменном веке, и, может быть, у вас, на Кубани, дорогой Степан Никанорович. Неужели вам не ясно, что это или рабовладение, или жестокая игра на женском чувстве? Разве она не такой человек, как и я?

— Эх, хватили! Нешто можно бабу ко мне приравнять? Ее и в алтарь не пускают, потому—нечистая, значит. А то—такой же человек! Не совсем такой, значит! Вот оно что, а не то что! Да! Молоды вы еще, как я погляжу, Борис Иванович, хотя и учены. Вот поживете с мое, сами убедитесь—много ли баба стоит.

Такие разговоры повторялись довольно часто с различными вариациями.

— Помочь—помогу вам, Степан Никанорович, чем только возможно будет, а уж от побега увольте. Не пойду,—заканчивал обыкновенно спор Сосновский; и, действительно, не жалел хлопот, чтобы обставить побег приятеля как можно практичнее.

Он написал обстоятельное письмо одному из товарищей, Бугайскому, и просил невесту дать ему же 15 рублей на снабжение беглецов всем необходимым.

За эти деньги тому удалось приобрести простенькую одностволку, топор, котелок, пару ножей и кое-что из провизии.

Кроме того, он согласился указать беглецам наиболее безопасный путь к северу.

Жил он за 7 верст от поста, на самом краю селения Михайловского.

Непосредственно за его избой начинались поросшие лесом хребты, вдоль и поперек им исхоженные, и потому предприятие имело некоторые шансы на успех.

Вопрос был в том, как уйти из тюрьмы; но и здесь, после некоторых расспросов, нашелся выход.

Лет десять тому назад дворы мужской тюрьмы и женской разделялись только знаменитыми палями.

Трехсаженные толстые бревна с заостренными верхушками, вертикально врытые в землю вплотную друг к другу, скрепленные еще, кроме того, на половине своей высоты пронизывающим их толстым железным прутом, казались начальству достаточной охраной приличия и нравственности.

Но увы! Чуть не половина первой же прибывшей в пост Александровский партии женщин через несколько месяцев пребывания в полной изоляции от мужчин оказалась беременной.

Бились, бились, так и не могли разузнать, в чем секрет такого сверх'естественного явления.

Осматривали пали целой комиссией, расспрашивали, грозили, наконец, перевели женскую тюрьму в другое здание безо всякой ограды, но с часовым у дверей, и чудеса сейчас же прекратились.

Вот таинственным механизмом этих чудес и решился воспользоваться Тиманов.

Дело в том, что одно из бревен было подрыто и на глубине полуаршина перепилено.

Стоило только раскопать землю, и, при некотором усилии, бревно поворачивалось на железном поперечном стержне, поднималось вверх и открывало лазейку.

Немало скопленных денег пропоил Тиманов тюремным Иванам, прежде чем удалось ему выпытать этот секрет.

Поди-ка, узнай, которое бревно из тысячи подрыто и подпилено, когда все одинаково подсыпаны снизу песком и мелким щебнем, и давно все это крапивой поросло.

Усталые и голодные, только-что Тиманов и Сосновский вернулись домой с дальних работ из-под самых хребтов, куда их партия ходила за бревнами.

Был двенадцатый час дня, и они мирно хлебали рыбную баланду, уписывая солидные куски черного хлеба, когда в камеру ввалились Алёха Мирный и Залетный, бежавшие с работ еще в начале лета.

Приветливо, как старые знакомые, встреченные камерой, они тотчас же устроились на старом месте, рядом с Тимановым.

Никто их ни о чем не расспрашивал. Согласно кодекса арестантских приличий, это было бы верхом бестактности, и потому сгоравшая от любопытства камера делала вид, что едва замечает прибывших, что было странным контрастом с первой приветливой, почти радостной встречей.

Алёху едва можно было узнать: так скрутили его таежные приключения.

Из коренастого богатыря с круглым наивным лицом, чуть тронутым оспой, и мечтательными детскими глазами прелестного синего цвета, он превратился в полусогнутый скелет с бессильно болтающимися руками; отечное лицо обвисло складками, а глаза...

Больно было смотреть на них: такая скорбь в них сквозила и такое страдание.

Зато Залетный почти не изменился за эти 2 месяца. Такой же сухой и жилистый; все с той же иронической улыбкой под нависшими седыми усами.

Только загар лица из бронзового стал коричневым, да глаза будто ярче и острее светились из-под нависших бровей.

И в этой вытянутой вперед шее, и в суженных глазах с мелкими морщинками у висков сказывалась многолетняя привычка зорко всматриваться в слепящую глаза степную даль бесконечную, да в темные заросли густых сибирских лесов: не скачет ли гроза горбачей, бурят узкоглазый, с меткой винтовкой поперек седла, не сверкнут ли горящие глаза пятнистого барса, не встанет ли тучей темной лохматая фигура владыки лесного, медведя.

Смотрит на него Сосновский и налюбоваться не может.

— Вот, нет здесь Репина, Ильи Ефимовича! Какой новый шедевр искусства создала бы его могучая фантазия из такого натурщика!

Только Тиманов да Сосновский изо всей камеры попали сегодня «под бревна»; остальным достались ближние работы «от звонка до звонка», и через два часа, после обеда, они снова должны были идти кончать свои ненавистные уроки.

Большинство поэтому завалилось спать, пользуясь тем, что дверь в коридор была открыта, свежий воздух приятным сквознячком тянет в большое окно, и нет в камере отвратительной парашки.

Залетный сел на нары, подобрал под себя ноги и медленно стал крутить цыгарку.

Так же медленно достал он затем из кармана шаровар, положенных в изголовье, старую коробку из-под монпансье, осторожно насыпал из нее махорки на руку и методически стал растирать ее заскорузлыми ладонями.

Чем-то мощным, властным веяло от этой сухой, энергичной фигуры.

Как орел, сидя на вершине утеса, окидывает зорким оком своим бесконечную синюю даль, так старый, бывалый бродяга медленно обводил глазами беспомощно распростертые тела спавших своих товарищей.

— Ишь, хайло то раззявил, глот паскудный!—презрительно фыркнул Залетный на разинутый рот спящего Мухи.

Проигравшись «в доску» и переругавшись не на живот, а на смерть с Сашкой Шаровым и всей компанией «золотохватов», он ушел из их камеры и снова поселился в четвертом номере.

На громадной, мускулистой руке его, откинутой в сторону, приютилась изящная голова красивого, но сильно потасканного юноши.

— Туда же, любовь крутит!—ворчал искушенный опытом бродяга, оборачиваясь к Сосновскому и тщательно всыпая растертый табак в цыгарку.—Оставить бы мне его подыхать тогда под Нерчинском. Так ведь нет, примазался. «Я, говорит, заслужу тебе, дедушка. По гроб своей жизни не забуду; выведи только, не оставь».—Гляжу я на него: оборваный весь, рожа в синяках изукрашена, голодный, как пес какой. Тьфу ты! Ну, ин—быть так; идем! Только чтобы ни-ни насчет пакостей. Клялся, ведь, как! И не лопнули глаза его бесстыжие! Недели не прошло,—застрёмил да и пришил под самой под Читой купчишку какого-то. Приходит в кровище весь, руки трясутся... Эх, вы-ы! Ты «делай», да так, чтобы шухеру не было и думы ничьей ни на кого бы не пало. Вот! А то—что? Я, говорит, громилой был под Одестом; все экономки меня, как огня, боялись. Вот тебе и громила! Следом тут же и пришли за ним и нас обоих застрёмили, и деньги при нем, и часы, и перстень с пальцем отрубленным купчишки этого—все налицо. Громи-ила! И что же, поди все еще Ивана строит у вас здесь этот Муха? Не подрезали еще ему крылья?

— Ка-ак же!—протянул, опираясь на локоть Тиманов.—Он да Федька Осетин, да Непомнящий тридцати двух лет, да еще Чубуков—самая головка у нас теперь. Вот Прокурор еще; ну, да тот все отдельно больше; как-то мало их касается.

— Прокурор, говоришь? Слыхал, слыхал. Это—что товарища присудил повесить... по бродяжеству?

— Вот, вот! Денисовым звать его. Они вшестером тогда ходили... Один волынщик попался, ссоры все подымал, на кордон хотел идти арестоваться. Всех бы подвел этим. Потом дело дошло до драки; он и выпусти кишки одному... Тут связали они его и стали думать, что с ним делать. Денисов говорит: надо, ребята, по форме все, чтобы обиды не вышло... И речь им держал тут, а того, связанного, оправдываться заставил. Однако, обвинил он его по всем статьям и присудил повесить... Так разукрасил, что прочие слова не перечили; тут же и вздернули на елку. С той поры Прокурором и прозвали его, Денисова-то. Прокурор да Прокурор—так и пошло.

— Да! слыхал я про это. У него котелок работает; не другим чета. Хорошего закала человек; старых арестантских правил. Слыхал я про него на Каре еще. Жаль — молод... Ему бы раза три Сибирью пройти, наскрозь, поучиться еще науке-то нашей

бродяжецкой, вот тогда... Ну, а те-то: Муха, да, как их, Федька, да Непомнящий, головка-то ваша здешняя, Иваны-то, — помогают шпанке? Правильно содержат себя?

— Какое там помогают? Житья нет от них! Вдосталь обобрали тюрьму. То-есть, просто так крутят, так крутят... Не любит их тюрьма-то, а боится: народ все здоровый, отчаянный, держится все кучкой... беда с ними. Вот хоть и Муха. Сам, чай, видел: какое с ним обращение! Муха, да Мушка! — Один у нас Муха... А он,—то ломается, то шута строит, то на Ивана повернет. А кобылке чего надо? Всякий знает, что он шут, так шут и есть гороховый; вроде, как бы за дурачка его представляют, просто камеди-для. А он и фуфырится. Того не думает, что кабы не четверо их, да не кулаки ихние пудовые, так бы камера грохнула над его ломаньем, так бы затюкала на него, дурака, что куда бы и прыть девалась!

— Да!—задумчиво молвил Залетный.—Вот они, нонешние-то! Мразь, мелочь одна, шелапуты, никакого почтения к себе поддержать не могут. На все наше сословие только тень наводят. За что их не любят нынче, бродяг да Иванов по тюрьмам, за что?.. А как же их любить, когда и нет их вовсе; слово одно только осталось, что бродяга, или Иван-там. А заместо того—вон что вышло: глоты, да пакостники. Знаю я бродяг этих нонешних. Глотище этакий закрутит дурака какого-нибудь побогаче: пойдем, да пойдем; я, мол, ход знаю; тут проселкой, там через хребты тропкой, а после лодку свиснем у гиляк и айда на ту сторону. Так все распишет, что по книге. Сейчас это два пуда рису, полпуда масла, чаю, хлеба, котелков, да чайников наберут и—в тайгу. Вожатый больше налегке идет: мне, мол, тропу надо искать; как бы не сбиться, а с ношей неспособно; все на дурака навалит. Отойдут они версты три—стоп!—чай пить. Еще три версты—кашу варить! С маслом! да спать... В неделю пройдут они верст пятьдесят, сожрут весь припас... Что остается тут? Надо им, видишь ли, к поселенцу идти, последнюю корову увести у него. Так лето и ходят. А после возьмет Иван-то хваленый да и пришьет товарища, деньги захватит да и прет на кордон: я, мол, бродяга, отощал в тайге, не погубите. Нальют ему солдаты прикладами по первое число, да и приведут обратно. А ему, шелапуту, того и надо. Лето прогулял, деньги есть, сроку и так сто лет оставалось—и живет себе зиму в тюрьме деньгами швыряет, либо майдан откроет, коли в штосс не спустит всего до копейки. И ништо ему! Убить бы такого! А кобылка скрозь пальцы смотрит, да еще поддакивает, потому, головы у нее нет, арестантов нет правильных, старинных. Вот оно что, друг ты мой! А говорят: бродяги. Какие они бродяги? Бродяжил один такой под нарами два месяца, на работу ходить не хотел, да начальство про то узнало и знатный полняк ему всыпало. Тоже—бродяга по-вашему? Эх, вы-ы!

Залетный с сердцем швырнул потухшую цыгарку и лег на спину, заложив руки за голову.

— А дружно жила раньше бродяжка наша!—продолжал он после некоторого молчания.—Крепко друг за друга стояла. Бывало, сойдемся в одной тюрьме пять, шесть человек... Пятьсот, шестьсот слушаются; потому—сила! Они все вразброд, шпанка—известно. Ну, а мы все в одном кулаке. Опять же, окромя носа своего, ничего они не видали, порядков не знают... Любой смотритель скрутит их—во как!—и не пикнешь! Ну, а мы, слава те, господи! Виды-то видали. Знаем, чем взять; отшить тоже сумеем. И кобылка-то при нас оживет, бывало... А теперь что? Духом опали все; что быки рабочие сделались. Ни-тебе согласия, ни-тебе крепости... ничевым ничего! Забыли, какой он, примерный арестант, есть. Иваны тоже повывелись... Из бродяжки тоже больше бывали; с нею вместе и на нет сошли. Смотришь: иной тебе—шапку на брови, халат на одно плечо, подкандальники шелком расшиты, кандалы с переливом, тоненькие... Шумит, грохочет, лает начальство. Ну — Иван, да и полно. А придет пора, стрясется что, и сдрейфит, за кобылку прячется, только что не язычничает... И обозначится: не Иван он, а просто на-просто глот. Только бы ему над шпанкой измываться, обыгрывать, да языком трепать: я-ста, да мы-ста! А что ты-ста? Бо́тало ты осиновое, только и всего,—тяжело вздохнул старый бродяга.

— Да! Испаскудился народ нынче, измельчал; нет в нем духу прежнего.

— А скажите, Залетный, как не надоест вам бродяжить? Век целый волком травленым быть? Да ведь трудное дело это... Вы сколько раз Сибирью прошли?—спросил Сосновский.

— Да разов шесть будет,—повернулся опять в его сторону Залетный.—А только чего тут трудного? В тюрьме во много раз хуже сидеть. Спервоначалу, правда, трудно было, ох, как трудно. Одному, особенно, ежели... Хребты теперь... камыш этот, а там таки пойдут, к лиману... Д-да! Тоже хватишь. Да это что! только бы на ту сторону выбраться, а там... Э-эх!

Бродяга даже причмокнул.

Живо представилась ему бесконечная лента широкого «трахту сибирского».

— Куда ни глянь, тайга-матушка, темная, беспросветная. Шумят-гудят волны зеленые, манят к себе человека беглого... Пять шагов с дороги—и пропал, сгинул; и не найдет тебя ни в жисть никакое начальство... Разве натворил чего на селе: лошадь увел, корову зарезал—сами чалдоны поднимутся, собак возьмут, винтовки,—тогда уж, брат, ла̀хман, кругом, брат, шестнадцать: найдут, пяти верст не уйдешь—найдут и тут же, как собаку бешеную, пристрелят. Может, и не ты это сделал, другой кто,—все ѐдино: не помилуют. А и шибко били за это по тюрьмам бродяги

в прежние времена; смертным боем били, как узнают. А как не узнать? Идет кто из нашей братьи—а на селе волком смотрят, прочь гонят: ваш брат варнак, говорят, только пакостить умеет; онагдысь, мол, вон что случилось... И приметы тут же расскажут.— Ну, конешно, как только осенью арестуешься, кобылке и расскажешь все; не тот, так другой узнает пакостника по приметам; известны ведь бегуны-то по тюрьмам. Тут, шалишь брат, не отвертишься: слухом земля полнится; из тюрьмы в тюрьму, с этапа на этап идут шепотком эти слова и где ни на есть захватят того, что путь другим затилает, под пули товарищей подводит. Ночью халатом накроют его, чтобы знаков не было, и бьют всей камерой, на-смерть бьют, ногами топчут... Известно, утром надзиратель гавкает: чего не встаешь, такой-сякой! звонка тебе, барину, мало? Будить надоть? А куда будить его, коли он за ночь-то остыть успел... Так-то-ся! Эх-хе-хе! И куда эти времена сподевалися?—скорбно думает замолчавший Залетный.

Серые, прищуренные глаза его задумчиво устремились в потолок; углы бровей поднялись и образовали на лбу глубокие, косые морщины.

— Да! Испаскудился народ нынче, измельчал; нет в нем духу прежнего,—продолжал ворчать Залетный, снова садясь на нарах и принимаясь свертывать цыгарку. — И довериться нельзя никому. Товарища себе не подыщешь; так и ходишь один. Все один да один; именно, как волк травленый... Верно сказал ты, Борис Иванович. Да и лучше так-то. По крайности, знаешь, что на себя одного надежда, за себя одного отвечаешь... Сам себе и друг, и товарищ... Вот Мирный Алёха, к примеру сказать. По Каре еще знал его... И верный человек, и языком зря трепать не станет, и в беде не выдаст... А вперед я знал, что не товарищ он мне... вот, как гусь свинье не товарищ. Если и пошел я с ним, то, правду сказать, потому лишь, что полюбился он мне, вот как сын родной... И что же? Сами видите, что вышло!..

Залетный с тихой лаской легонько провел рукой по бритой голове сидевшего возле него в понуренной позе Алёхи.

Тот огляделся вокруг мутными глазами и тяжело вздохнул.

— Не серчай на меня, Залетный,—умоляющим тоном заговорил он: думал—на руках тебя всю дорогу понесу, выведи только отсюда, а оно вон что... вовсе наоборот вышло...

— Да что вышло-то?—не вытерпел Сосновский. — Как это могло случиться, что два таких богатыря, как вы с Мирным, могли опять здесь очутиться?.. И всего-то четыреста верст... ведь это же пустяки для вас обоих!

— А вот и не пустяки, значит,—возразил Залетный.—Да на пустяке-то скорее всего и сорвешься. Не пофартило... Судьба, знать, такая... Да, вот, погоди: уйдут на работу ребята, мы тебе

все расскажем. Человек ты душевный; слушай, да мотай себе на ус, авось, когда пригодится.

Действительно, не прошло и пяти минут, как отдельные фигуры стали подниматься на нарах.

Протирая кулаками заспанные глаза и почесываясь, они разминали затекшие члены и лениво оправляли несложный свой туалет.

Обычный налет надзирателя с таким же привычным потоком трафаретного сквернословия был выслушан с обычным же спокойствием, точно бой часов, и понемногу камера опустела.

И ряд картин, то жутких и потрясающих, то трогательных и поэтично-красивых поплыл перед Сосновским и Тимановым под аккомпанемент бесхитростного рассказа незадачливых беглецов.

А неудачи начались с первого же момента бегства.

Когда сильным ударом в лицо Залетный сбил с ног конвойного солдата и одним легким прыжком скрылся в зарослях, он сразу же взял круто в сторону, прекрасно зная, что вслед ему сейчас загремят десятки выстрелов.

От пуль он, правда, укрылся, но зато потерял след пробежавшего вперед Алёхи.

— Ничего; парень смекалистый, авось, не потеряется!—утешал он себя, направляясь окольным путем к седловине горного кряжа, на которую перед побегом указал Мирному, как на сборный пункт, если судьба раз'единит их.

Как олень, мчался Алёха, слыша за собою выстрелы.

Сразбегу перескакивая через поваленные бурей деревья, ныряя под сводами еловых веток, по самой земле раскинувших свои широкие, косматые лапы, как кошка взбегая на мшистые камни, спотыкаясь и падая, летел он в гору, забирая все выше и выше.

— Палят...—тоскливо мелькало в воспаленном мозгу: убили, поди, Залетного... господи, вынеси!—Ох, мочи моей нет больше!—свалился, наконец, он на краю глубокого оврага.

Внизу весело журчал ручей, закрытый зеленым пологом лопушника. Пушистыми кудрями взбегали кусты на противоположную сторону. За ними снова черной, зубчатой стеной высились ели.

Серая тень мелькнула в кустах: заяц выкатил из лопушника и, присев на прогалинке, сторожко поводил длинными ушами.

Алёха сделал движение, и заяц бесшумными прыжками исчез за кустами.

Бешено прыгавшее сердце стало биться ровнее, дрожавшие ноги понемногу отошли.

— Напиться, что ли?

Алёха осторожно стал сползать с кручи.

Долго пил он холодную, как лед, воду, уткнувши в нее свое пылающее лицо.

Освежив бритую голову, он переобулся, оправил сбившуюся одежду и, поплотнее запихав за пазуху ситный, стал взбираться на противоположную сторону оврага.

Снова перед ним тайга беспросветная.

В самое небо ушли острые вершины старых седых елей. Плотной стеной сгрудились они, крепко сцепили мохнатые, книзу опущенные руки свои. Молчаливые стражи заповедных трущоб сахалинской тайги. Величавые, неподвижные.

Смелой рукой раздвигает Алёха колючую стену ветвей. Ноги путаются в высокой и крепкой зелени голубицы. Острый, пряный запах стесняет дыхание.

Часа три уже идет Алёха, то взбираясь на хребты, то спускаясь в распадки, а все нет и нет той просеки, о которой говорил Залетный.

Знает Мирный, что по ней надо влево взять, и уткнешься через час в горную седловину Пиленги. Там велел его ждать Залетный.

— Что же это? Да неужто я проскочил ее смаху, когда бежал еще?—с тоской думал он.

Эта мысль сразу даже в дрожь бросила и холодным потом смочила забившиеся виски.

— Что же делать теперь? Куда идти?

Кругом один торжественный, безответный лес.

— Назад! Беспременно назад... Надо найти просеку, а то Залетный не дождется, уйдет, пожалуй. Куда я один денусь тогда?

Быстрым шагом бросился парень обратно.

Вот и овраг.

Хватаясь руками за кусты, сбежал он вниз, перескочил ручей и, поминутно скользя с крутого песчаного откоса, ссадив до крови колено, выбрался на другую сторону.

Едва переводя дух от напряжения, остановился он на обрыве и оглянул местность.

— Но что это? Совсем не то место.

Он твердо помнил, что «тогда» он бегом выдрался из темной заросли частого «ельника», «теперь» же перед ним весело шумели «березы», сверкая белыми стволами своими; кудрявыми купами сплетался боярышник, да папоротник зеленым кружевом причудливо раскинул свои резные, изящные листья.

— Овраг—тот! — догадался Алёха. — Только теперь я забрался в сторону, не на то место вышел.

— Пустое!—мысленно успокаивал он себя, продолжая пробираться дальше.

Лес поредел. Начались обширные заросли камыша, с головой поглотившие парня.

С трудом передвигая ноги в этой спутанной массе тонких, но прочных стеблей, усердно разгребая их перед собой обеими руками, шел он, поглядывая временами на солнце.

— Теперь оно слева,—стало быть, верно иду!—мелькало у него в голове;—«тогда» оно было справа.

— Господи! Да что же это?—встал вдруг Алёха.

Только сейчас к ужасу своему он заметил, что почва все повышалась и повышалась.

— Как же это?—чуть не плакал несчастный парень.—Тогда я бежал в гору и обратно иду в гору?!.

Сердце его болезненно сжалось; как туманом, ударило в голову; мысли закружились беспорядочной вереницей. Метнулся он в сторону, метнулся в другую и—бессильно опустился на землю.

Высокий камыш равнодушно сомкнул над ним свои пушистые вершины.

— Нет, так нельзя!—стиснув зубы, решительно проворчал Мирный.—Пропадешь этак в тайге тут. Пойду все прямо... выйду же куда ни-на-есть.

И снова, разгребая камыш, стал он осторожно спускаться все ниже и ниже.

Снова темной зубчатой стеной поднялись огромные ели.

Прохладный сумрак и сырой запах грибов после невыносимо душного камыша.

Мертвая, зловещая тишина.

— Могила!—мелькнуло в голове Алёхи.

Он все шел.

Не чувствуя усталости, все вперед и вперед шел он, стараясь не сбиться с принятого направления.

Выводок рябчиков с треском вырвался из-под ног, заставив его вздрогнуть и попятиться.

Облинявший, худой и гибкий соболь, вьюном облетев елку, притаился на вершине.

Склонив на бок острую мордочку, он подозрительно поглядывал на злейшего врага своего, соображая: перескочить ли ему на соседнюю пихту, или поплотнее прижаться к стволу на своем месте; авось, не заметит тот—там внизу!

А он все шел.

Солнце давно перевалило за полдень.

Длинные, косые тени легли на полянах.

Сильнее потянуло прохладой; слышней стал запах грибов; мрачней зачернели лесные трущобы.

Снова крутой, трудный под'ем; снова спуск; тихо журчащий ручей, лопушник, камыш... и снова тайга; молчаливая, беспросветная.

Стиснув зубы, не чувствуя ни голода, ни усталости, он все шел.

Седой пеленой заклубился туман над глубокою падью.

Одна за другой медленно гасли багровые тучи на западе. Светлый рог месяца стал вырезаться над неровной щетиной таежных вершин, грозно черневших на бледном и тусклом фоне вечернего неба.

Тихо затеплилась одинокая звездочка.

В ближнем ущелье загукал филин...

А он все шел.

Без одной мысли в голове, с блуждающим взглядом, с холодным отчаяньем в сердце, падая и вновь поднимаясь, весь избитый, истерзанный...

Он все шел и шел.

. . . . . .

Спустя десять дней, Залетный пробирался глухой тайгой, далеко за селением Рыковским.

Отчаявшись в отыскании Алёхи, он, побуждаемый голодом, двинулся в Тымовский округ к приятелю своему Мишке Сохатому.

Передохнув у него и запасшись полным комплектом дорожных принадлежностей, старый бродяга привычным жестом закинул котомку за плечи и, распрощавшись с гостеприимным хозяином, отправился дальше на север.

Вот уже третий день, как идет он с хребта на хребет, ни разу не запутавшись в бесчисленных «падях», «распадках» и «стрелках».

Опытный глаз старого бродяги безошибочно умеет определять направление по солнцу, по звездам, по клочьям мха на деревьях, по гущине веток, по муравейникам и по массе других примет, понятных глазу только бродяги, да охотника.

Еще двое суток, и последний кордон останется сзади; можно и к берегу сворачивать.

А там—темная ночка, лодка, украденная из гиляцкой деревушки, и к утру на той стороне, на блаженной «той стороне».

Прощай, Сакалин, тогда; не поминай лихом!

Эх, Сибирь матушка-старушка, сытая и обильная, вдоль и поперек знакомая!...

Заимки уютные, чалдоны полоротые!

— Стой, паря!—кричит, бывало, такой чалдон, встречая в глухой тайге партию беглых, человека в три, четыре: — Стой! Становись под одну пулю!

И винтовку с плеча снимает.

Знают бродяги чалдонскую ухватку, и бух на колени все разом.

Добродушно смеется краснорожий чалдон.

— Вот что, паря!—говорит он:—Кидай-ка ножи да топоры ко мне поближе! Вот так! Ну, а теперь,—таинственно добавляет

он:—есть у меня тут заимка... Покос там... как-раз «по путе» (пути) вам будет. Вались ко мне туда. Кормить, одевать буду, слышь-ты. Ну, а кто не хочет...—и он берется за винтовку.

Знают бродяги, что «по путе», по-ихнему, по-чалдонскому, значит верст двадцать крюку в сторону, но—делать нечего—идут за своим предприимчивым нанимателем.

Работают до упаду, зато и едят до отвалу; забавляют чалдонов сказками да прибаутками, вдоволь козыряют с их дочерьми да с женками и, кончив покос, уходят с полными котомками вкусных шанег да савотеек сибирских (ватрушки и булочки); напутствуют их благодушные пожелания хозяев да слезы разбитных хозяек, украдкой от мужей проливаемые...

А вот холодная ночь осенняя.

Ветер свищет, качая деревьями; уныло и грозно гудит-рокочет тайга необ'ятная.

Тускло белеет во мраке широкая лента дороги.

Заплетаясь усталыми ногами, идут гуськом примолкнувшие бродяги.

Вот сверкнул вдали огонек... ближе и ближе...

— Заимка! Слава-те, господи!

Бешеный лай сердитых собак.

— Пусти, хозяин!

— Кто, хрещеный?

— Странники... Переночевать пусти, христа-ради!

С треском откидывается опускное окошечко в калитке.

— Э-э! Вон-оно кто! Ну, ладно, вались, паря, в баню.

Вот и баня.

Живо натаскана полная печка соломы; громко трещит и гудит веселое пламя.

Скоро приходит хозяин; за ним из-за двери выглядывают ребятишки.

— Здорово, паря! Не спится что-то.

Хозяин примащивается тут же на ворохе соломы, натасканной гостями.

— А што, паря, есть посказатель?

Беда, коли—нет!—скажут неопытные странники; в глухую ночь, в дождь или вьюгу, все равно выгонит их вон любитель сказок.

— Есть, как же!—дружно отвечают они.

И в низенькой бане, при неровном красноватом свете пылающей печки, льются бесконечные рассказы.

Полная баня набьется народа.

Трещит и пылает огонь в печке; прыгают, мечутся черные тени на полу и на стенах; жмутся поближе друг к другу очарованные слушатели; и плавно льется речь посказателя.

Целую ночь не дадут спать проклятые чалдоны.

Зато, если по нраву хозяину посказательские небылицы, целую неделю бродяги, как сыр в масле, катаются: ешь-пей—не хочу!—пока не выдохнется весь запас вранья и всяких сказок.

А там опять дальше.

— А сколько нашей братии приписалось! И живут сами чалдонами!

Сами ведь просят: останься, мол, с нами, паря! Останься, мил-человек; скушно нам тут одним-то, в тайге нашей.

Э-эх! Воля, воля!

Бодро шагает Залетный, пробираясь по кочкам зыбкого болота.

Радостно бьется свободолюбивое сердце старого бродяги, предвкушая все прелести таежной вольницы.

При каждом шаге медленно зыбятся чахлые, низкорослые елки, почти лишенные хвои, увешанные седыми клочьями, как бороды длинного моха.

Черная туча медленно тянется по небу.

Стая ворон с оглушительным карканьем носится над болотом, то опускаясь, то опять поднимаясь такою же черною тучей.

— Что там такое?—невольно думает Залетный.—Что-то неладное. Надо взглянуть.

Осторожно ступая по зыбуну, придерживаясь за редкие деревья и перескакивая чернеющие «окна», пробирается он туда, где упорнее всего вьется стая зловещих птиц.

Вот небольшая полянка, покрытая яркой, изумрудно-зеленой травою.

Бродяга знает, что идти дальше нельзя. Здесь бездонная, неумолимая трясина.

Туча ворон вьется над полянкой, оглашая ее пронзительным карканьем.

Черные группы их тяжеловесно расселись вокруг на тощих, засохших деревьях.

Несколько штук, усердно махая зубчатыми крыльями, опустив книзу хвосты и черные крепкие клювы, кружатся над самой травой посредине поляны, не решаясь присесть на предательскую почву.

Шагов за пять, за шесть от края поляны—какая-то кочка; круглый комок, покрытый грязно-зеленой тиной, торчит возле рогатого корня опрокинутой ели.

Ворона садится на корень и, склонив голову на бок, пристально смотрит черным глазом своим на этот грязный, круглый комок.

Смотрит на него и Залетный.

Что-то странное, что-то ужасное есть в этом комке зеленоватой грязи.

— Господи!... Глядит!...

Ухватившись за дерево, Залетный с трясущейся челюстью выгибается над поляной.

— Глядит!

Огромные, остеклевшие глаза без всякого выражения уставились между клочьями тины куда-то вдаль... Точно сквозь него глядят...

Человеческие глаза... Мертвые глаза...

Какие-то черные жуки бегают по ним; мухи роятся...

И вдруг...

Леденящий ужас электрической искрой пронизывает закаленное сердце старого бродяги.

... Тихий, чуть слышный, протяжный вой глухо вылетает из этого комка.

Именно вой; предсмертный, жалобный вой полузадушенного животного.

Страшные, нечеловеческие звуки!

Тише и тише... Снова все смолкло.

И снова глухой, жалобный вой, медленно замирая, пронесся по тихой поляне.

Ворона сорвалась с рогатого корня и шарахнулась в сторону.

Снова все стихло.

— Господи, что же это?... Да, ведь... Да, ведь, живой «он»! Помочь надо... Как? Что делать?—мелькает в мозгу Залетного, еще дрожащего всем телом, но уже понявшего, что перед ним голова угрязшего в трясине человека.

Сбросив котомку, он выхватил длинный, тяжелый нож и принялся рубить чахлые, тонкие елки, громоздя их одну возле другой на трясине.

Вынув затем из мешка длинную веревку, он обвязал один конец у себя вокруг пояса, а другой закрепил у корня прочного пня и осторожно добрался до страшного, отвратительного предмета посредине трясины.

Только теперь он разобрал две руки, судорожно сцепившиеся пальцами поверх рогатого корня.

До костей были исклеваны воронами эти руки; истерзанное мясо висело клочьями; в запекшихся ранах жужжали мухи.

Залетный надавил рукой зыбучую почву, набрал воды и обмыл тину и грязь с головы.

— О-ох!...—бродяга даже перекрестился.

— С нами крестная сила!... Алёха!!

— Парень! Сыночек ты мой! Родимый! Да как ты попал сюда? Господи...

Полуоткрытый рот исхудалой, обтянувшейся головы страшно скалил белые зубы. Черви кишели там.

Мертвые, мутные глаза бессмысленно смотрели вдаль.

— Да что же это?... Как же это?—суетился Залетный.

Он снял с себя веревку и прочной петлей захлестнул Алёху под мышками.

Попробовал разжать его пальцы, судорожно охватившие корявый корень поваленного дерева.

Но запекшиеся лоскутья кожи так страшно висели на них, так страшно белели между ними обнаженные кости, что вчуже становилось больно до них дотронуться.

И Залетный по-просту принялся рубить мешающий корень.

При первых ударах ножа из полуоткрытого рта Алёхи снова вылетел дикий, жалобный вой.

Две слезы показались на бессмысленных, мутных глазах его и тихо скатились по щекам, изрытым нечеловеческой мукой.

С тоской и ужасом, сжимающим сердце, но решительно и быстро продолжал работать старый товарищ, понимая, как дорога каждая минута.

Захлестнув другой конец веревки вокруг упавшего дерева, так что она, лежа на земле, короткой струной натянулась между ним и Алёхой, он ухватился за середину ее и, напрягая все силы своих стальных, выносливых мускулов, поднял ее сначала до пояса, а затем и на плечи.

Это могучее усилие до пояса выхватило Алёху из тины.

Быстро дернув веревку к себе, Залетный уронил его плашмя на болото и, не давая снова угрязнуть, быстро натянул и снова закрепил ослабший конец.

Еще такой же маневр, и Алёха лежит на твердой земле.

Открытые глаза его смотрят теперь страшным взглядом своим на темнеющее небо.

Сведенные судорогой руки по-прежнему подняты вверх и крепко сжимают обрубленный корень.

Но не вылетает больше тихий жалобный стон из полуоткрытого рта с оскаленными зубами.

— Никак, помер?

Залетный хватает котомку и, достав бутылку спирта, вливает несколько капель в этот черный, разинутый рот.

Затем отрывает кусок чистой портянки, добытый из котомки, и, обильно смочив спиртом, протирает полость рта, носа и усердно трет виски.

— Слава тебе, господи!—широко крестится он, поднимая голову к темнеющему небу.

— Жив! Задышал!

Невольные слезы выступают на суровых, стальных глазах его.

Подвязав котомку за спину Алёхи, он садится на корточки задом к нему, охватывает свою поясницу его ногами и, связав их

спереди веревкой под коленями, с усилием закладывает руки полумертвого товарища по бокам головы к себе на грудь.

Соединив между собою связанные конечности, он захлестывает свободный конец веревки крест-на-крест через спину товарища и встает на ноги.

Теперь Алёха прочно и удобно увязан за спиной своего верного старого друга.

Надо идти скорее, пока он еще жив.

— Не менее, как суток пять провисел он тут,—высчитывает Залетный.—Вынеси, господи! Поддержись, старый волк, Залетный! Только бы выйти скорее...

— Куда? Куда ты выйдешь?—словно колом ударил ему в голову трезвый, практический вопрос.

Старый бродяга даже остановился.

— Куда?.. Неужто на кордон?.. Тут не более, как верст пять до него...—На кордон?... Солдаты... Конвой... Опять тюрьма сахалинская...—Прощай, значит, воля! Прощай, «та сторона»! Прощайте, желанные мечты волшебные, леса дремучие, заимки уютные!.. Прощай, даль бесконечная родного «трахту сибирского»!..

Заныло вольное сердце...

— Бросить разве?... Все равно помрет, поди... Зря только с «ним» и я-то в петлю лезу... Бросить, уйти? Убежать, не оглядываясь... темно теперь...

Тихий молящий стон раздался у него за спиной, над самым ухом и, всхлипывая, замер.

— Господи! Озверел я, окаянный! Что задумал: товарища, Алёху... сыночка бросить?!. Что ты, родимый? На—вот покуда!— и Залетный сунул в рот склонившейся к нему на плечо искалеченной головы товарища напитанную спиртом тряпицу.

. . . . . .

Ярко сверкает полный месяц, голубоватым светом заливая окрестность.

Серебряной чешуей переливается светлая дорожка на спокойных водах Татарского пролива.

Ярко горит костер у последнего Сахалинского кордона, и волны, почти вплоть набегая к нему, тихо плещут у берега.

Странная, огромная, сгорбленная фигура показывается из лесной опушки на поляне, залитой светом месяца.

— Стой! Кто идет? Что несешь?—твердо и грозно звучит в мирном ночном воздухе.

— Бро-о-дя-га... Несу боль-но-го това-ри-ща... Помирает... По-мо-ги-те...—хрипло долетает до группы солдат, с ружьями выбежавших из караулки.

Еще светлее горит полный месяц. Ярче серебрятся волны Татарского пролива и тихо, тихо плещут у берега.

. . . . . .

Плавно, спокойно, почти без запинок говорит Залетный, старый, опытный «посказатель», изощренный в этом деле за свои почти сорокалетние скитания.

Изредка сочными, красочными штрихами добавляет его рассказ Алёха, потрясенный новым переживанием своих приключений... Таинственные дебри таежных трущоб, вольнолюбивые мечты и разбитые надежды, грозные опасности и нечеловеческая, доисторическая какая-то выносливость—все сплеталось в один поэтический, красивый узор, но красоты дикой, потрясающей. Картина за картиной вставáли перед очарованным Сосновским во время этого повествования.

И ему стало совестно, что еще вчера он готов был обвинять чуть ли не огулом всю уголовную каторгу в пороках и изуверстве.

— До чего же сложен такой человек,—если он может совершить и самое корыстное убийство, и величайший акт самопожертвования! Многие-ли из нас, людей, как мы думаем, высшей расы, способны на такое самоотречение, которое только-что и так просто и естественно проделал Залетный?—так думал Сосновский, с каким-то новым любопытством вглядываясь в суровые черты бродяги.

— Чего воззрился, миляга?—добродушно усмехнулся тот, перехватив полный мучительных вопросов взгляд Сосновского.— Внове тебе слышать про этакое? Поди — не учат вас этому в академиях ваших?

— Правда твоя, старик! Многому, очень многому не учат нас в академиях... из того особенно, что нужно человеку, чтобы человеком быть...—отвечал тот задумчиво, как бы про себя.

Зато Тиманов не задавался никакими вопросами философско-этического характера.

Это был человек дела, и дела внезапного, чуждого каких-либо долгих рассуждений и предварительной моральной подготовки.

С разгоревшимися глазами слушал он повествователей, и видно было, что в душе его зреет какое-то решение чисто практического свойства.

Едва рассказ кончился, как он стал задавать вопросы о местности, тропах, просеках и, наконец, уловив вопросительный взгляд Залетного, рассмеялся деланным смехом.

— Ну, да!—оглянувшись на дверь, сказал он и нагнулся к самому уху собеседника.—Хочешь с нами, Залетный?.. И Алёху твоего прихватим... Готово все у нас... Сегодня же в ночь утекаем.

— Ка-ак?—даже привстал Залетный, с недоверием глядя на Сосновского.—И вы идете, Борис Иванович?

А Мирный, как на пружине, вскочил с нар и весь преображенный стоял теперь перед компанией, впиваясь острым, горящим взглядом то в одного, то в другого.

— Я-то нет! А вот он с племянником...—махнул головой Сосновский в сторону Тиманова.

Залетный обернулся к Алёхе.

— Ну?!

Тот весь побледнел, затрясся и рухнул на колени.

— Голубчики!.. Отцы!.. Не возьмете—ночью же жизни решусь!..

— Вставай, вставай, дурень!—нахмурившись зашипел на него Залетный.—Неравно взойдет кто!.. Не в том дело, идьёт ты этакой, что брать или не брать тебя... А хватит ли силы? Полтора месяца, почитай, в больнице Рыковской вылежал... Шутка ли?!

— Силы?!—так и вскочил Алёха.—Гляди, отец!

Быстрым движением он как-то по-медвежьи сгреб с нар Залетного с Тимановым и, вскинув их, как детей, на плечи, закружился по камере.

— Брось, оголтелый дьявол! Оставь, балда несообразная!.—ругался Тиманов, совсем не по-казацки болтая длинными руками и ногами в мощных лапах восторженно смеявшегося парня.

— Ну, по рукам, значит!—весело сказал Залетный, когда Алёха бережно посадил их обоих опять на нары.

В несколько минут новые товарищи были посвящены во все подробности задуманного побега.

— Ловко обмозговано!—похвалил Залетный.—Теперь как бы поверку минуть, чтобы на дворе остаться?

— Вот что, братцы,—решил наконец Залетный, после долгого обсуждения.—Ты, Тиманов, остаешься здесь; я перейду в третий номер, а Мирный во второй... Там у нас ребята есть знакомые... Их и попросим на поверке номерок сдвоить. Ты, Борис Иванович, здесь за Тиманова устрой это же самое. А спрячемся мы в бане, на чердаке... Там «Святая душа» веники держит. Его и попросим следы замести за нами... Пусть столб подпиленный землей снова завалит и дерном прикроет... За ночь-то эк куда дернем, аж за Рыковское... Ночи-то лунные теперь, светлые.

Племянник Тиманова еще с утра нащелкал себе все тело жесткой щеткой и, обманув перевязчика (в роде ротного фельдшера) попал в околоток до выяснения подозрительной сыпи доктором. Оттуда было легче выйти на двор, чем из камеры, так как за больными следил перевязчик, а не надзиратель, и дверь часто, особенно летом, стояла открытой.

Наступила вечерняя поверка.

Как и всегда, обитатели всех четырех номеров выстроились в два ряда вдоль длинного коридора своего корпуса.

Сидор Полоротый с дежурным надзирателем одновременно с разных концов пересчитали обе шеренги.

Сосновский стоял в передней из них.

Просчитанный Сидором, он незаметно продвинулся в заднюю шеренгу и снова был сосчитан там дежурным надзирателем.

Таким образом, сорок два человека, числившиеся в четвертом номере, оказались по счету налицо, хотя Тиманов давно уже сидел на чердаке тюремной бани.

То же самое и в следующих номерах проделали приятели Мирного и Залетного. Для отвода глаз им сообщено было под секретом, что Залетный достал спирту и собирается с приятелями вспрыснуть в «починочной» день своего ангела.

Грустно смотрел Сосновский на опустевшее рядом с ним место на нарах.

За эти несколько месяцев он успел искренно привязаться к Тиманову, несмотря на его постоянную воркотню и менторский тон.

За что попал в каторгу этот человек?

За то, что не перенес пощечины от хорунжего за какую-то строевую повинность и на месте зарубил его шашкой, а затем при помощи племянника-однополчанина пытался бежать из-под ареста.

Вот этот-то порыв и подкупил больше всего Сосновского при первом его знакомстве с прошлым Тиманова.

Нравилось ему и то, что старый казак в тюрьме и в каторге сумел сохранить самобытность, насколько это позволяла общетюремная этика.

— Как, однако, сближает людей общая работа и общие мелочи обыденной жизни!—думает Сосновский, лежа на жестком ложе своем и прислушиваясь к храпенью соседей.—Ведь уход Тиманова положительно причиняет мне страдание; да и сам старый казак прослезился на прощанье... Да... Наверное уж никогда не увижу их больше. Залетный сумеет вывести. Это—человек крепкого закала. И в сущности—с хорошими задатками, только не получившими развития. А его ли вина в этом? Едва ли его! А Мирный? Ведь это же—Залетный в юности, только, вследствие молодости, еще больше рискующий. Этого,—если побег не удастся—каторга уже не выпустит... И ведь сколько в обоих силы духа! Другие условия жизни—это и были бы замечательные люди.

Осаждаемый такими мыслями, Сосновский долго ворочался с боку на бок. Сквозь решетку окна тянул свежий морской ветер. На растянутых веревках колыхались ряды портянок, и серые скорченные фигуры вповалку храпели на нарах.

ГЛАВА VI.

Побег открылся на утренней поверке.

Это было страшным ударом для Сидора Полоротого.

Весь красный и растерянный, он бестолково бегал из одного конца коридора в другой вдоль выстроенных в два ряда непокорных питомцев своих.

— Да что же это? Как же это?—поминутно повторял он, вытирая вспотевшее лицо судорожно зажатым в комок красным фуляром.—Ах, чтоб тебя язвило! Да может—в счете ошибка?

— Какая там ошибка, господин старшой, когда и по фамилиям известно, кого нет,—с мрачным видом пояснил дежурный надзиратель Полещук; его угреватое лицо тоже покрылось красными пятнами, и тщательно расчесанный капуль прилип к вспотевшему лбу, точно мочала.

— Да кончайте, Сидор Семенович! На работу идти хочется... И так уже, поди, опоздали...—издевалась кобылка.

— Конча-ать!—взвизгнуло внезапно рассвирепевшее начальство.—Я и кончу!.. Дайте срок! Всех под суд!.. Укрывательство? Пособничество?

— Нашел чем пугать! Еще расстрелять кислым молоком пригрози!—не утерпел Яшка Дергач.

Публика окончательно развеселилась.

— Ну, ладно, ребята!—внезапно смяк Полоротый, чувствуя, что почва под ним начинает делаться скользкой.

В сущности говоря, он до смерти боялся своих питомцев.

— Идите по камерам. Предварительный допрос сделаем соседям, значит, которые бежали... Порядки, чай, сами знаете? Форма требует, чтобы меры пресечения там и прочее подобное... Ну, идите, идите!

С галденьем и смехом разошлась кобылка по камерам.

— Меры пресечения... Ах ты, амфибий Полоротый, клянусь красотой!—паясничал неугомонный Яшка Дергач.

— Вы, как человек, значит, того, образованный, должны понимать... содействовать надо, так сказать... Потому, не модель это... Подвели меня, подлецы!—говорил Полоротый вызванному на допрос в надзирательскую Сосновскому.

Изумленный таким вступлением, тот молчал, стараясь не улыбаться.

— Скажите, что вам известно по делу? — перешел на официальный тон допросчик. — На вечерней поверке Тиманов был?

— Конечно!—отвечал Сосновский. Ведь вы же сами видели, что счет был верный.

— Ну, а потом? Ночью?

— Ночью я спал и ничего не видел.

— А утром?

— А утром его на поверке не оказалось.

— А до поверки?

— Да меня поверка разбудила. Двери уже были открыты. Я внимания не обратил; подушка его здесь кумачная, чайник—тоже... Говорю, внимания не обратил: может, вышел уже в коридор или на двор...

— Ну, а со двора-то как же? Как же он пали-то мог перескочить, в три-то сажени?..

— Отчего? Ведь он казак! Знаете, какие они штуки проделывают во время джигитовки?

— Да вы что? Смеетесь?

Полоротый подозрительно посмотрел на серьезное лицо Сосновского.

— Гм! Ну, а остальные? Ведь их четверо бежало!

— Четверо?—Сосновский отступил назад и сделал удивленное лицо. — Ну, тогда дело ясное. Друг другу на плечи и—dahin, dahin, wo die Zitronen blühen.

Сидор улыбнулся, делая вид, что понял сказанное и махнул рукой.

— Ну, ладно, идите... Только как же часовые? Ведь утром... светло же... Вот фартануло мне, язви его!

Дознание, произведенное по другим камерам, тоже не дало положительных результатов.

Якобы в интересах розыска, публика на допросе несла невероятную околесицу.

Высказывались предположения о прорезанных под нарами полах, о разобранном дымоходе, подмене частей решетки вставными прутьями; вспоминали о побеге графа Монте-Кристо в романе Дюма; и, наконец, привели несчастного Сидора в полное остолбенение.

— А ч-чорт!—с отчаянием крикнул он, наконец, хлопнув рукой по исписанной каракулями груде бумаги. — Назарыч! Гони их, дьяволов, на работы! Голову мне только морочат... Ну, как покажу этакое начальнику?

Теперь соседями Сосновского по нарам оказались два курда: колоссального роста великан Алла Верды, с лицом до странности похожим на портреты Петра Великого, и сухой, как из струн весь сплетенный, среднего роста старик с выбитым левым глазом и профилем хищной птицы.

Оба пришли за разбой, а старик, по кличке Хаджи, еще и на Сахалине стяжал себе громкую славу.

Пытаясь бежать из-под конвоя четырех солдат, при переводе из Дуйской тюрьмы в Александровскую, он засыпал табаком глаза одному, выхватил у него винтовку, заколол другого, тут же раздробил череп прикладом третьему и выстрелом вдогонку уложил бежавшего четвертого.

Затем забрал все патроны убитых и с винтовкой ушел в хребты.

Пойманный уже где-то на Ленских приисках, как спиртонос, он через 2 года опять был прислан на Сахалин и, никем официально не уличенный, отбывал теперь каторгу за убийство приискового стражника.

«Хаджи» прозвали его мусульмане за то, что он бывал в Мекке, и относились к нему с величайшим уважением, не считаясь с племенными различиями.

Слово его было законом, и надо сказать к его чести, что никогда он не злоупотреблял своим влиянием.

По-русски оба курда говорили сносно.

— Чего тибэ старшой спрашивал?—полюбопытствовал Хаджи, остро впиваясь единственным глазом своим в глаза Сосновского, когда они шли по пыльной дороге за тележкой; ее, как игрушку, вез Алла Верды.

Сосновский рассказал подробности допроса.

— Якши!—хлопнул его по плечу старый курд и улыбнулся. —Кунак будешь?

— Буду!—засмеялся тот.

— Алла сохласен!—наудачу прибавил он слышанное приветствие.

— Хошь гердюк!—разом ответили оба горца, и ласковая улыбка осветила их бронзовые, суровые лица.

Первый лед был разбит, и с работ они возвращались уже друзьями.

Услышав о своем странном сходстве с Петром Великим, Алла Верды принялся за расспросы, и оба курда, разгоревшись, как дети, слушали рассказы Сосновского. Но в полный восторг привели их преобразования армии и введение Петром военных наук.

— Вот бы нам такого вождя в наш Курдистан!—восклицали они, прищелкивая языком.—Курды сильны и смелы, как орлы на вершинах гор! И горы наши неприступны... А вождя нет настоящего. Некому собрать нас и научить...

— И вот... видишь, кунак?!

И скорбным жестом Хаджи указал на свои кандалы.

Сосновский глазам своим не поверил, когда увидел мирно гулявших по двору кандальной Штернберга и Бражникова.

— Какими судьбами? В чем дело?—так и бросился он к ним, выдираясь из толпы возвратившихся с работ бревнотасков.— Как, не вы только?.. Все здесь? Вся колония? Что же случилось?

— Здесь неудобно, среди двора, на нас уже смотрят. Нельзя доверять этим людям...

— Да ведь...

— Не горячитесь. Идем за корпуса; там на травке лежат кое-кто из наших.

За корпусами, в тени палей, они нашли Бугайского, Кузина и Хроновского.

Остальные еще обедали по камерам.

Потрясающее впечатление произвели на Сосновского принесенные товарищами новости.

Он весь так и загорелся избытком молодых сил и пламенного негодования.

— Да, ведь, этому имени нет!—задыхаясь, едва мог вымолвить он, хватаясь за сердце и вскакивая на ноги.—Порка Сигиды, якутское избиение, карийские самоубийства и голодовка... теперь здесь ту же политику начинает... Так нельзя оставить... Нужны решительные меры!!

— Какие? — спокойно спросил Хроновский, пощипывая бородку.

Остальные мрачно молчали.

Мейсснер слегка дрожавшими пальцами ерошил свои роскошные темные кудри, а Бугайский с сосредоточенным видом дразнил кончиком травинки какую-то букашку.

Кузин, лежа на спине, мечтательно смотрел на плывущие облака, и только Бражников, ухватив себя за бороду, испытующим взглядом впился в воспаленные глаза Сосновского.

— Какие меры?!—с расстановкой сказал, наконец, пониженным голосом Сосновский.

— Да хотя бы побег, общий массовый побег!

Кузин и Бугайский разом бросили свои занятия и, переглянувшись, придвинулись поближе.

— Я так и знал!—крикнул Бражников, крепко дернув себя за бороду и, оглянувшись, зажал себе рот рукой; а Штернберг неодобрительно покрутил головою и, сняв очки, принялся сосредоточенно протирать их.—Я так и знал, что вы это скажете, Сосновский,—укоризненно зашептал Бражников, кладя ему на плечо свою руку. — Вчера вы устроили побег четверым уголовным и Бугайского втянули в эту историю на помощь себе... Ясно, что и сегодня еще у вас голова набита побегами...

— Слишком примитивное акцептированье общей ситуации положения и потому переоценка тех возможностей, которыми мы располагаем на самом деле. Сказывается влияние поверхностной уголовной среды, которая вас окружает, милейший,—с дружеским упреком проворчал Штернберг, одевая опять себе очки на нос.

— Поживете здесь лет 6—7, вот, как мы, тогда иначе будете рассуждать, — подхватил Бражников, заметив огорченный вид Сосновского.—Массовый побег—это легко сказать! Ведь есть семейные и даже многосемейные, с больными детьми, с грудными. Куда вы их денете? Как с этакой оравой на иностранный пароход сесть? Или вы думаете всем началом тайгой отправиться, на-подобие древних скифов или гуннов? Или здесь их бросить, чтобы отцов в кандалы забили, а дети с голоду перемерли? Ну-с?

Сосновский сжал кулаки и, опустив голову, молчал. Возражать тут было нечего.

— И неужели вы думаете,—добавил Хроновский,—что мысль о побеге не приходила нам в голову раньше, пока детей еще не было? Но даже при таких условиях бежать было немыслимо. Слишком нас много. Партию в 16 человек сразу не посадишь на пароход незаметным образом, да и не решится никто взять; может конфликт возникнуть, или все равно выдать нас пришлось бы русским властям.

— Кроме того, не надо забывать,—закончил Мейсснер,—что в Тымовском округе тоже живут наши. Если бы мы ушли, то все репрессии опрокинулись бы на них одних.

— Разбит на всех фронтах?—засмеялся Бражников, обнимая одной рукой Сосновского за талию и ласково заглядывая ему в глаза.—Эх, молодежь, горячие головы! Ну, идите обедать; ведь вы с работы? Идите, идите! Увидимся еще. На людях не стоит беседовать,—говорил он, провожая Сосновского.—Очень уж ненадежный элемент; продадут за грош да еще переврут... и от себя прибавят... Не разделаешься потом.

— Вы в том корпусе? Жаль! Мы все в этих трех размещены, по одному на камеру,—заметил Бугайский.

— Боятся, дурачье, как бы восстания не устроили, что ли? —презрительно засмеялся Мейсснер.

Шутливо брошенное слово точно вспышкой пламени сверкнуло в отуманенном мозгу Сосновского.

— Восстание? А почему бы и нет?

Но боясь быть поднятым на смех, он промолчал и, довольно рассеянно попрощавшись с товарищами, направился в свою камеру.

Весь день его мозг сверлила одна и та же неотступная мысль: восстание.

Он ходил по камерам, шутил и смеялся с товарищами, расспрашивал их о сахалинском житье-бытье, о погоде, урожаях; а где-то глубоко в душе параллельно со всем этим зрела и развивалась навязчивая мысль: почему бы и нет? Удалось же Беньовскому на Камчатке?

В камере Сосновского ни о чем не расспрашивали.

Это было бы «неприлично», да и кроме того кобылка прекрасно знала все подробности Рыковской трагедии; знала и то, что вот уже вторые сутки жены политических безвыходно сидят в приемном кабинете губернатора. Недаром один и тот же тюремный водовоз ежедневно утром и вечером привозил свежую воду в кандальную, а заодно и по ближайшим квартирам администрации и, конечно, в первую голову губернатора.

Сосновскому показалось даже, что он подметил несколько иронических взглядов со стороны самых отчаянных головорезов каторги, и он тотчас же отнес их за счет бессилия политических ответить на явное издевательство тюремщиков каким-либо ярким, сокрушительным ударом.

— И что за проклятая судьба русского интеллигента—вечно няньчиться с какими-то идейными заграждениями!—думал Сосновский, лежа вечером на нарах и с ожесточением затягиваясь самокруткой из крепчайшего маньчжурского табаку.—Опутали себя со всех сторон законами этики, правилами морали, заповедями религии... Колючая проволока какая-то... просто выхода нет... Чорт знает что! Главное, будь тут что-нибудь прочное, вечное—ну, другое дело. А то, ведь, все это с веками меняется, да как меняется!.. Проштудируй-ка историю... Прямо на изнанку мораль и этика выворачиваются. А вот ты—сын своего века,—так и сиди в гнезде из колючей проволоки, в котором родился... Где же свобода мысли?

Он докурил попиросу и с сердцем швырнул окурок на пол.

— От природы ушли в дебри собственных измышлений, вот и причина!

— Ты бы что сделал, Хаджи, если бы с тобой такой случай вышел, как с Домбровским?—внезапно обернулся он к старому курду, сидевшему поджав ноги на нарах и сосредоточенно сосавшему длинную трубку.

— Рэзал и тайга бижал!—лаконически буркнул тот, сверкнув своим глазом в сторону Сосновского.

— Та-ак! Ну, а если бы не успел; под рукой ничего нет, а затем в кандальную, и ау! Тогда что?

— Кондальная? Знай, кунак: кондальная много мусульман. Хаджи все знают. Хаджи Мекка ходил. Слово скажу: кинжал, револьвер будэт... много будэт... Кого надо рэзал и тайга уходить будэм, все уходить будэм! Хаджи кандалы надевал, но морда бить не давал... никому!!

Он выколотил трубку о краешек нар и, сплюнув тонкой струйкой на середину камеры, стал укладываться.

Алла Верды давно уже храпел, как буйвол, закинув за голову загорелую руку, точно свитую из темного троса, а не из человеческих мускулов.

Спала и вся камера.

Сосновский лежа смотрел, как за окном быстро неслись по темному небу разорванные черные облака, и по временам фиолетовым светом вспыхивала зарница.

Что-то беспокойное, тянущее вдаль, было в этом смятенном беге облаков, в самом их очертании, клочковатом, нестройном, и в этих бесшумных фиолетовых взрывах.

Безотчетно глядел на все это Сосновский, и душа его тосковала. Вереницей, как скорбные тени, вставали перед ним все обиды и унижения, весь позор и наглое, грубое издевательство, все, что пришлось пережить ему за последние годы, начиная с момента ареста.

— Вот, полюбуйся на свои кудри! Хе-хе-хе!—с язвительным смехом сказал ему какой-то тюремный чиновник, хлыщеватого

вида перетянутый франт, подавая ручное зеркальце, когда кончилась первая операция бритья половины головы после суда.—Небось, не взглянет на тебя ни одна курсистка теперь! Хе-хе-хе!

Это грубое, лакейское «ты», впервые услышанное Сосновским, и подлый щелчок в сторону тайного сожаления об утрате внешней привлекательности,—сожаления, такого понятного во всяком юноше,—комом встали в горле Сосновского.

Он сдержал себя тогда и не разбил зеркало о прилизанную физиономию чиновного франта, но в глазах у него пошли красные круги, и чисто физическая боль пронизала сердце.

А наглые предложения стать предателем?!

Как смели они считать его способным на эту подлость?

А бесцеремонные до наивности попытки поймать его разными софизмами?!

Они и дураком его считали!

А представление ему фальшивых документов, в роде поддельных покаяний, написанных будто бы его друзьями?!

А зверское избиение и месяц в темном подвале Трубецкого бастиона, поставивший его на грань сумасшествия?!

А наглое, напоказ, ненужное «тыканье», бритье пол-головы, кандалы на ногах, безобразная одежда с тузом на спине, водворение на долгие годы на отрезанном от всего мира острове?

Что все это? Как все это назвать?!. Это нравственное и физическое оплевание, возведенное в систему и узаконенное.

О, гады! звери проклятые!..

Сосновский застонал и закрыл глаза рукою.

— Не только никто из них, а и никто в мире никогда не посмел бы нанести мне хотя бы малейшее из всех этих оскорблений, пока на мне был надет студенческий мундир...

Да и в голову не пришла бы самая возможность чего-либо подобного...

Почему?

Неужели я потерял свою человеческую личность, стал совсем другим, оттого только, что на меня насильно одели другую одежду и обрили наполовину волосы?

Ведь они знают, что—нет!

Знают проклятые и нарочно бьют по больному месту, плюют и хлещут по физиономии, упиваются моим бессилием и своей безнаказанностью!

Сосновский отнял от лица руки и сел на нарах.

— Безнаказанность?!. вот настоящее слово!! О, подлые, лакейские души!

На воле на это отвечают пощечиной, активной самозащитой... а здесь... только самоубийство будет протестом.

Бедный Домбровский! Не выдержал... и вот!!.

А мы должны молчать... из тактических соображений!..

Тактика?!.. Когда вся душа изныла от боли и сердце на части рвется?! Когда места в душе не осталось, не заплеванного этими гадами!

Безнаказанность!? Нет! Довольно!

Это не жизнь, а пресмыканье какое-то!.. Из тактических соображений?! Ха-ха-ха!

Нелепо и дико прозвучал этот надорванный, истерический смех среди мирного храпения сонной камеры.

Две-три головы высунулись из-под халатов, с недоумением поглядели на белую фигуру, одиноко сидящую на нарах, как привидение, и вновь скрылись с полусонной циничной бранью.

— Баста!—решил Сосновский.—Довольно нервничать! Завтра же начну зондировать почву среди мусульман. Начну с Хаджи... Человек надежный, видимо. Насчет Иванов с Пазульским посоветуюсь. Этот всех их знает и не выдаст, ежели что... Завтра!— А теперь спать... Надо взять себя в руки...

Молодой, здоровый организм и чрезмерное нервное утомление взяли свое, и он сам не заметил, как забылся тяжелым, свинцовым сном без всяких сновидений.

Утром внезапное освобождение товарищей и рассказы о полном поражении губернаторского упрямства их женами произвели на него очень мало впечатления. Он спокойно попрощался с ними, с улыбкой выслушивая теплые пожелания и сожаления, что вот они уходят, а он еще остается здесь.

Отчасти он даже рад был их уходу.

Делиться с ними своими планами он не хотел ни в каком случае, так как вполне уверен был в самой ярой их оппозиции. Если удастся дело, они будут поставлены перед совершившимся фактом, и тогда... Тогда сами придут! Обязаны будут прийти на помощь... Победителей не судят! — мелькнула у него гордая мысль.

А если... если неудача, то пострадаю я один.

Следствие докажет, что никто из них даже не подозревал ничего.

Хаджи, Алла Верды и Сосновский попали в партию, назначенную возить дрова из селения Михайловского.

Только-что ликвидирован был огромный лесной пожар по этому тракту. Часть горелого леса была вырублена «вольной командой», сложена в Михайловском, и вот кандальные должны были на ручных вагонетках доставить все это в пост Александровский.

Утро выдалось туманное, дождливое.

Полузаросший травою, узкий рельсовый путь. Сами рельсы покрыты ржавчиною. Видно, что давно никто уже по ним ничего не возит.

Вдоль неширокой долины реки Большой Александровки, прямой полосой, почти без поворотов уходили они за семь верст

к самым хребтам, невидным теперь за серой завесой мелкого дождя и тумана.

Справа широкая проезжая дорога; за ней кусты, и дальше едва намечаются контуры горного отрога «Верблюд». Слева— канава, поросшая двухсаженной крапивой, таким же лопушником и высокими кустами шиповника. За ними сплошное серое марево; ничего сквозь него не видно.

Далеко растянулись около 30 вагонеток; у каждого по три человека и один конвойный.

Дорога под самым легким уклоном идет в гору, и потому один тащит вагонетку впереди, а двое подталкивают сзади.

Конвойные понуро плетутся сбоку по дороге. Иные взгромоздились на платформы и мирно дремлют, положив на колени винтовки.

Алла Верды мерно шагает впереди, привязав цепь от вагонетки к поясу и, видимо, совершенно ее не замечая. Сосновский с Хаджи идут сзади по шпалам, тонким, корявым, кое-как набросанным.

На мостиках шпал кое-где не хватает, и надо внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не провалиться и не попасть под следующий вагон.

Поезд идет быстро. Люди прыгают, противно хлюпают в лужах размокшими котами, путаются в высокой траве, иногда падают. Отборная брань висит в туманном сыром воздухе, и струйки дождя забираются за воротник. На плохо свинченных стыках колеса стучат, и грохают платформы, дребезжа расхлябанными гайками. Говорить можно свободно; в двух шагах никто не услышит.

Сосновский весь горел нетерпением и почти не замечал трудностей пути. Он быстро шел за вагонеткой, высоко подоткнув спереди за пояс полы длинного халата и легко перескакивая через всевозможные рытвины и препятствия.

— Там организовывал боевые дружины...—думал он.—Эх! Была-не-была! Попробую и здесь! Правда, народ «там» отборный, идейный, испытанный... а «здесь» насчет идеи — ау! Зато материял какой для действия! Головорезы... отчаянная публика... Ну! Куда ни шло!..

— Хаджи! Не надоело тебе здесь вот за тележкой, как ишаку, на привязи бегать? Хотелось бы опять в родных горах вольным орлом летать?—сказал он на-ходу, нагибаясь к уху старого курда.

Тот вздрогнул и свирепо вытаращил свой единственный глаз.

— Не шути этим, кунак!—и в голосе его зазвучала угроза; верхняя губа поднялась и оскалила стиснутые, еще белые и крепкие зубы.

— Я не шучу, друг! Не такая жизнь у нас здесь, чтобы такими вещами шутить.

— Уйти тайга хочешь? С собой зовешь?—оживился Хаджи.

— Уйти-то уйти, но только не в тайгу; не так, как Тиманов да Залетный... Мы не уйдем, а уедем; а раньше такой тарарам здесь устроим, что целый век помнить будут; все народы про нас говорить будут, книги писать, сказки складывать будут,— говорил Сосновский, применяясь к психологии полудикого, воинственного курда.—Слушай, кунак! Внимательно слушай! И пусть это умрет с тобою, старина!

И он постепенно развернул перед очарованным Хаджи целый план восстания.

В кандальной почти 800 человек. Из них, по крайней мере, 200 мусульман.

Хаджи выберет 20 человек самых надежных и посвятит их в план восстания.

Каждый из них, в свою очередь, подберет себе десяток товарищей.

Придется посвятить также Иванов. Иначе они могут оказать противодействие и провалить все дело.

С их же помощью отряды можно увеличить вдвое, а то и втрое; над каждыми пятью десятками должен быть один начальник. Над каждой сотней тоже один.

Хаджи будет главой над мусульманами.

Остальных поделят Иваны. С ними надо сговориться об этом отдельно; вероятно, их будет двое или трое.

Из этих сотников составляется военный совет.

Верховное руководство остается за Сосновским.

Люди должны быть расположены так, чтобы в каждой камере обязательно было по одному и даже по два десятника, а в каждом корпусе непременно хотя бы один сотник.

К осеннему приходу «Ярославля» все должно быть готово.

Сосновский сам скажет, когда начинать.

В назначенный день, на вечерней поверке, когда все надзиратели в сборе, по свистку Сосновского, надо молча обезоружить их, связать и запереть всех в сушилки (карцера). Затем, глухой ночью, несколько человек, одетых в надзирательские костюмы, должны отворить ворота и снять наружных часовых.

Молча, без всякого шума одна партия занимает почтовую контору и снимает там телеграфный аппарат.

Другая делает то же с телефонной станцией.

Служащих связать и запереть в подвалы и чуланы.

Без нужды не убивать никого. Мы не разбойники и не громилы.

Это надо помнить всем.

Всех встречных забирать с собою и под угрозой револьверов отводить в кандальную. Но этого не будет. Ночью улицы совершенно пусты.

Главная масса окольными путями собирается к казармам. Переодетые надзирателями люди бесшумно снимают часовых и дневальных.

Остальные становятся по пять человек у открытых окон и, по свистку, разом бросаются внутрь и хватают сложенные в козла винтовки.

Пока ошалевшие со сна солдаты не разобрали еще, в чем дело, их окружают кольцом штыков и гонят в кандальную.

Теперь весь пост в нашей власти.

На дорогах, при в'ездах в город, поставить скрытые патрули. Приезжих из других округов забирать и сажать в кандальную.

Губернатора и всех других крупных чиновников туда же: парализовать, чтоб не мешали. Это будет забавно.

Утром с «Ярославля» приедет с визитом командир. Его арестовать. За ним с'едут другие офицеры; арестовать тоже. Всех забирать, кто прибудет оттуда.

Вечером, когда совсем стемнеет, одеть человек 50 в чиновничьи, офицерские и надзирательские мундиры и, подойдя на катерах к пароходу, перевязать ничего не ожидающую команду по одиночке (их там не более 30 человек останется, особенно с осенним женским рейсом),—и пароход в наших руках.

Затем отряд человек в 200 идет в Тымовский округ и приводит оттуда всех политических и всех, кто пожелает. Конвойная команда там втрое меньше здешней.

То же самое в Дуэ и других ближайших местностях.

Затем нагружаем пароход припасами, углем, — и в путь, к свободе!

В Рыковском живет один из наших политиков, Ювичев, бывший морской офицер.

Его сделаем капитаном парохода.

Дисциплину на борту введем железную.

Пойдем к берегам Южной Америки, или в Австралию, в Новую Зеландию... Это решим на военном совете начальников уже на судне.

Одно надо зарубить себе на носу: если мы сумеем все это сделать без кровопролития, без постыдного грабежа и распутства, то нас везде примут и не выдадут русским властям. Это уж мы, политические, возьмем на себя устроить.

Оттуда уже всякий поезжай свободным человеком и с деньгами, куда угодно.

Но если не сдержитесь и допустите безобразия, то не только выдадут нас и перевешают потом, но, вернее всего, просто утопит наше судно, как разбойничье, любой миноносец любой державы.

Хаджи слушал, как очарованный, план Сосновского, не прерывая его ни одним словом..

Только единственный глаз его горел лихорадочным, внутренним блеском, и язык по-временам судорожно облизывал пересохшие губы.

— Ох, кунак!—задыхаясь промолвил он, наконец.

— Аллах акбер!.. Ты—больше Хаджи!

И прежде чем Сосновский успел опомниться, схватил его руку и благоговейно поцеловал ее.

Налетевший из горных ущелий ветер разогнал туманный полог.

Мелкий, моросивший все утро дождь косыми полосами носился еще над землею, постепенно редея и точно уходя куда-то в вышину.

Косматые серые тучи вздымались за ними и таяли, поминутно меняя свои очертания.

Выглянуло солнце, и мириадами огнистых лучей заиграли дождевые капли на кустах и деревьях.

На краю селения Михайловского, вдоль рельсового пути сложены были за канавой огромные груды горелого леса.

Обугленные, корявые стволы всех величин и сортов неясно торчали во все стороны.

Почесала затылок шпана, взглянув на эту закуску и, помянув чью-то неизвестную мамашу, расположилась на отдых.

Отряхались мокрые халаты. Задымились цыгарки.

Яркая радуга широким полукольцом раскинулась по небу. Один конец ее плотно уперся в «Верблюд», другой повис над серой марью Татарского пролива.

— Божий мосток!—лениво сказал какой-то созерцатель.— Вот бы мостком этим да на ту сторону!

— Так и допустят тебя туда, чумазого! — подхватил для волынки другой.

— Рылом не вышел, да и туз, видишь, бубновый на спине-то!

— Туз—это не мешает. Туз — карта фартовая... А вот мост не достроен — это так: гляди, один-то конец болтается...

Сосновский, усевшись на придорожный камень, молча курил, в пол-уха слушая эти беседы и наблюдая искоса за Хаджи.

Отбросив в сторону, как солому, несколько бревен, Алла Верды очистил сухое место, и оба курда сидели теперь там друг против друга, подобрав под себя ноги.

Хаджи торжественным тоном вполголоса говорил что-то на своем родном языке.

Алла Верды слушал, не прерывая.

По-временам говоривший входил в азарт, грозил кому-то сжатым кулаком, или привычным жестом хватался за пояс, ища там кинжала.

Вот он широким взмахом указал на небо и, взявши себя за бороду, казалось, требовал что-то.

Алла Верды, несколько раз оглянувшийся на Сосновского во время рассказа Хаджи, теперь склонил на мгновенье свою энергичную загорелую голову; затем воздел обе руки ладонями вверх к сияющему солнцу, поднял туда же лицо, внезапно вспыхнувшее диким экстазом, и вполголоса забормотал какие-то клятвы.

Хаджи в такт покачивал головой, смотря на него, и поглаживал свою клинообразную седую бороду.

— Дрова грузить! Налетай, ребята; скорее домой вернемся! — заревел чей-то зычный голос.

С кряхтеньем и руганью принялась кобылка разворачивать черные, осклизлые от дождя груды.

Внутри они были сухи, и скоро тучи мелкой угольной пыли заклубились над местом работы, оседая черным слоем на лице и одежде.

Алла Верды работал в каком-то диком веселье. Исполинская фигура его с чисто стихийным размахом вся кипела торжеством своей чудовищной мощи.

Сбросив халат и рубаху и ставши похожим на отлитого из темной бронзы Геркулеса, он далеко изгибался то вправо, то влево; захватывал разом по три, по четыре дерева из соседней груды и свободным, широким взмахом перекидывал их на платформу вагонетки.

Сосновский с Хаджи не успели перенести и десятка бревен, как платформа была уже полна до отказа, перевязана крест на крест длинной цепью и подоткнута с боков четырьмя крепкими кольями.

Не зная, куда девать свою силу, развеселившийся Алла Верды подхватил сначала Сосновского, а потом Хаджи и, при общем одобрительном смехе, бережно посадил, точно каких-то кукол, на вершину этого сооружения.

Затем выворотил из земли большой камень, на котором отдыхал Сосновский, и, широко размахнувшись, перекинул его через цепь часовых на другую сторону дороги. Камень описал высокую дугу и упал шагов за 15 в размокшую кашу соседнего болота. Целая туча брызг и мелких комьев грязи поднялась там, как от взрыва, угостив ближайших солдат не совсем приятным душем.

— Пропасти на вас нет, жиганье оголтелое! — ругались сконфуженные солдаты.

Они очень дружно бросились на четвереньках в разные стороны, когда камень взвился над их головами; и теперь усердно обтирали полами шинелей запачканные в глине винтовки.

— Ишь, разошелся, дьявол турецкий!

— Го-го! — заревел Алла Верды, хлопая в ладоши, и весело засмеялся. — Никто сыдеть на нем болше нэ будэт!

— Кой чорт сидеть, когда на аршин, поди, в болото ушел... Ну, и здоров же проклятый! Чисто медведь!

Надзиратель рысцой пробежал по линии нагруженных вагонеток.

— Все готовы? Ну, трогай!

Большинство уселось сверху дров на платформы.

Некоторые бежали по бокам, сдерживая за концы веревок рвущиеся под уклон вагонетки.

Но вот колея как-будто выравнялась и прямой линией протянулась вдаль, насколько глаз хватает.

— Пу-ускай! — пронзительно крикнул кто-то, захваченный этим простором, скрытым напряжением, дрожавшим в каждом повороте колеи, и видом прямой, как стрела, дороги.

— Катай ребята! Один раз помирать!

Как сорвавшиеся с цепи, ринулись вперед груженые вагонетки.

Конвойные со смехом и руганью помчались во весь дух по дороге, стараясь не отставать от несущейся лавины.

Кое-где с боков вагонеток прыгали, не выпуская веревок, своеобразные спортсмены.

Сидящие наверху махали шапками и кричали ура.

Вдали на дороге виднелась отставшая фигура надзирателя с воздетыми к небу руками и лицом, искаженным от ярости и сквернословия.

Хаджи спокойно курил свою трубку и, не держась ни за что, каким-то чудом балансировал на мотающейся во все стороны груде бревен; сидя спиной к стороне движения, он даже ни разу не повернул головы и, видимо, о чем-то думал.

Алла Верды размашистым шагом бежал у самой колеи по узкой тропинке, точно сросшийся с вагонеткой; правую руку он обмотал концом цепи, оставшейся сбоку после увязки бревен, и, широко улыбаясь, поглядывал изредка на Сосновского.

А бег все ускорялся.

Не желая ударить в грязь лицом перед курдами, Сосновский крепко охватил ногами свое мотающееся и прыгающее сиденье и, сдвинув на затылок шапку, безуспешно пытался скрутить папиросу.

С чувством какого-то ребяческого удовлетворения он видел перед собою на задней вагонетке вытаращенные глаза и перекосившееся, бледное лицо конвойного солдата. Скорчив колени и зажав между ними винтовку штыком вперед, он уцепился обеими руками за остатки сучьев того дерева, на котором сидел, и олицетворял теперь собою один сплошной животный ужас.

— Держи, держи! — отчаянным воплем донеслось откуда-то спереди.

— Рельсы прогнулись!.. На мостике!!

Сосновский оглянулся.

Вагонетки летели друг за другом, так что дух захватывало. Видно было, как одна из них накренилась на ходу одним боком,

куда-то нырнула, но затем выпрямилась и, подпрыгнув, понеслась дальше.

Следующая нырнула глубже, но тоже выскочила. Люди сидевшие на них кубарем летели на дорогу и в канаву. Наконец, платформа, непосредственно летевшая впереди Сосновского, разом ухнула куда-то вниз, на мгновение остановилась торчком, затем задние ее колеса поднялись на воздух, и она тяжело грянулась в канаву; бревна ракетами взвились в воздухе и рассыпались в разные стороны, как лучинки. К счастью, люди спрыгнули еще раньше и теперь, потирая ушибленные места, выползали из крапивы.

В то же мгновение Алла Верды, схватив цепь в обе руки, всем корпусом откинулся назад и, глубоко взрывая землю крепкими, как железо, ногами, могучим усилием остановил свою вагонетку за два аршина от места крушения.

Задние давно уже тормозили изо всех сил, но все же не могли сразу удержать раската, и платформы крепко стукнулись друг о друга.

Оцепеневший от ужаса конвойный птицей взвился в воздух и плашмя растянулся на бревнах у ног Сосновского.

Штык его винтовки, судорожно зажатой во время полета, угодил Сосновскому прямо под мышку и пригвоздил его халат к бревнам, переломившись у самой шейки.

Солдат, все еще не выпуская винтовки, перевернулся через голову и, мелькнув скорченными ногами, свалился в заросшую крапивой канаву.

Хаджи от толчка тоже свалился на дорогу, но, как резиновый, вскочив на ноги, бросился к Сосновскому, который барахтался на бревнах, пригвожденный, как жук на булавке.

Подскочил и Алла Верды.

Оба видели сверкнувший у груди его штык и покатившегося с пустой винтовкой солдата.

— Ранен?!

— Кажется — нет! — стараясь улыбнуться, отвечал тот и рванулся изо всех сил.

Халат прорвался, и он сполз на землю. Глубоко засевший в бревно штык еще дрожал, мотая свернутой штопором шейкой.

— Ц-хэ! — гортанным звуком вырвалось у Хаджи. — Плохой знак! Аллах акбер!

Алла Верды тоже покрутил головой, но ничего не сказал, только детское веселье его куда-то разом исчезло.

Между тем, смертельно перепуганного и ободравшего себе лицо и руки солдата вытащили из канавы.

Подбежал запыхавшийся надзиратель и принялся «поливать» всех и вся самой отборной бранью.

Каторжане отругивались, не щадя изобретательности.

Минут пять продолжалось это состязание, от которого топор мог бы повиснуть в воздухе.

Наконец, нервная напряженность была в достаточной степени разряжена; упавшая вагонетка общими силами поставлена вновь на кое-как исправленные рельсы, разлетевшиеся бревна уложены, и поезд чинно двинулся дальше.

Сосновский нарочно молчал всю дорогу, понимая, что суеверным душам этих детей природы надо переварить такое очевидное предупреждение Аллаха.

Мрачно молчали и курды.

— Ну что, Хаджи? — уже после обеда, лежа на траве за корпусами с цыгаркой в зубах, спросил Сосновский. — Будешь делать или раздумал?

Старик медленно вынул изо-рта неизменную трубку с длинным черешневым мундштуком и, приложив руку сначала к сердцу, а потом ко лбу, еще медленнее сказал, серьезно глядя на собеседника:

— Господин! Хаджи только один раз дает слово. Будь спокоен. Аллах велик, человек мал; как может человек знать мысли Аллаха? что начал—кончай; вперед пошел, назад не гляди; слово свое не ломай! Так учит Коран. Будь спокоен, господин... Иди, говори с Пазульским; седая борода, крепкая рука — верный человек! Говори с ним.

И Сосновский говорил.

Как раскаивался он потом в этой ошибке!

Через три дня вечером, перед самой поверкой, отряд солдат человек в 50 беглым шагом, с ружьями на перевес вошел во двор, оцепил все корпуса и занял коридоры.

Целую неделю на поверке присутствовал вооруженный винтовками конвой, и всю ночь в коридорах расхаживали часовые.

Зато из камеры тачечников также внезапно переведен был в Тымовский округ и помещен в богадельню прикованный к тачке сосед Пазульского, Софронов. Он издавна славился на всю тюрьму каллиграфическим почерком и необыкновенной ловкостью в подделке каких-угодно документов.

Вычистить старый паспорт и написать сверху его новый со всеми подписями и печатями, написать чужим почерком целое письмо — ему ничего не стоило.

Но, несмотря на свои художественные таланты, он не пользовался симпатиями, так как был человек абсолютно без всяких устоев, даже арестантских.

— Никто, как этот подлец! — зашептал Пазульский при первой же встрече с Сосновским, тяжело ступая своей тачкой в землю и гремя обвивавшими ее цепями. — Надо написать в Рыковскую тюрьму... Пусть шкуру живьем снимут с негодяя, или в муравейник зароют...

— Оставьте это, Пазульский, очень прошу вас, — взмолился Сосновский. — Ну, что мы выиграем от этого? Дело все равно

провалилось бесповоротно... «Там» будут настороже, даже если снимут с нас эту осаду... А месть Софронову, да еще такая жестокая, только подтвердит в их глазах верность его доноса... Начнутся репрессии, допросы, и сколько еще человек пострадать может! Подумайте сами! Пусть все идет по-старому, как-будто мы ничего не подозреваем. Они подумают, что Софронов просто сделал ложный донос, чтобы избегнуть тачки, и успокоятся.

И действительно, Сосновский только один раз был вызван на предварительный допрос в тюремную канцелярию; но там он так весело расхохотался, когда его спросили — не слышал ли он чего-нибудь о подготовке восстания,—что следователь сконфузился и, отложив перо в сторону, сам улыбнулся.

— Восстание в кандальной?! — смеясь, говорил Сосновский. — Да помилуйте; что вы говорите?! Это наша кобылка-то? До мозга костей изолгавшиеся, расхлябанные, обезволенные люди? Живущие минутой, с больной психикой люди? Да за кого же вы их считаете? За гладиаторов древнего Рима? А кто же Спартак?... Да и кто наговорил вам всю эту чепуху?

Успокоенное и сконфуженное начальство отпустило его с миром, и временная осада с кандальной была снята. Зато Софронов из богадельни был изгнан и лишь благодаря слезным мольбам и прошениям водворен был не в Александровскую тюрьму, а в Онорскую; от тачки его все-таки избавили.

— Ну что? Как? — шопотом спрашивал Хаджи, лежа вечером на нарах рядом с Сосновским.

Тот рассказал подробности допроса, применяясь к пониманию полудикого курда и смягчая свой горький отзыв об уголовщине.

— Да-да! — задумчиво молвил старик после долгого молчания. — Вот о чем говорил нам знак Аллаха тогда... в Михайловке.

Вздохнув, он, как истый фаталист, сейчас же успокоился и, пробормотав привычное: «Аллах акбер!», повернулся на другой бок.

— Знак, не знак, — думал про себя отрезвевший Сосновский, — а, кажется, я чуть не попал в глупую историю, да еще самолично мною начатую. Хорошо еще, что товарищи ничего не знают... Они бы мне проходу не дали потом своими шуточками. И где-то только были мои глаза!

ГЛАВА V.

Отвесные лучи июльского полуденного солнца горячим светом заливают широкий двор кандальной.

Старые, темные стены корпусов точно сединой отливают местами под палящим светом.

Черные четыреугольники открытых дверей обманчиво сулят прохладу.

Выдаются же такие дни в конце июля даже на Сахалине, так богатом упорными и холодными ветрами!

Одиноко в углу приютилась новая баня; нестерпимо ярким пятном режут глаз будто из светлого янтаря отлитые бревна; крупные капли смолы повисли на них, далеко разнося в воздухе истомой и жаром пышущий запах.

От зноя потрескалась земля, плотно убитая тысячами ног за многие годы.

Редкая, поблеклая трава уныло прячется возле деревянных мостков и подержанным, пыльным ковром расстилается за корпусами.

Раскаленным шатром нависло желтоватое небо; высоко-высоко в нем, подальше он знойной земли, реют веселые ласточки, переливчатой трелью звенит жаворонок.

Раскаленными иглами стоят тесно друг к другу трехсаженные пали, заслоняя «мир божий» от «мира отверженных». Переливчатые трели слышны и оттуда: то — кандалы...

И живет этот мир своей особенной жизнью; создает свои законы, свою этику, отвергая отвергших его.

И нельзя подходить к нему с общепринятым мерилом или пытаться сделать с ним что-то в общечеловеческом масштабе.

Сосновский все более и более убеждается в этом.

— Нет, — думает он, — так нельзя. Будут одни ошибки и разочарования... И мое пребывание здесь пройдет бесследно для них и бесполезно для меня. Ясно одно: или я должен стать здесь своим, т. е. вывихнуть свои мозги и надорвать душу... одним словом — опуститься на дно, или пытаться поднять их до себя, зажечь хоть первую искру свежей человеческой мысли и чувства в этом упорно обособленном, больном мире. Но как? Как это сделать? С чего начать, когда со всех сторон стена недоверия, непонимания и предательства? С первого же слова, в камере, где живет лишь пятеро человек, и каких! — которым терять абсолютно нечего, — нашелся уже один предатель. Ведь это 20%! Что же встретила бы моя идея среди других камер с населением в 40—50 человек, гораздо менее заинтересованных в радикальной перемене своей жизни? Да меня предали бы за бутылку водки, за освобождение на один день от работы, за больное злорадство: «что, мол, наскочил? Душа из тебя вон, и кишки на бок!» Ведь есть и такие здесь люди, исковерканные каким-то нравственным садизмом, что ли...

Ни одним словом не обмолвился Сосновский никому ни о своей неудачной попытке, ни о своих внутренних переживаниях; не судят, ведь, только победителей!

Даже своей жене ни в чем не признался он. Ему не хотелось вызывать в ней муки опасений за возможность подобных увлечений в будущем.

Протестовало также чувство молодого самолюбия.

Ведь, в конце концов, грандиозные мечты отлились в такой жалкий и смешной пуф.

А быть смешным в 20 лет, да еще в глазах любимой женщины — нет! Это уж оставьте!

Сосновский по студенческой привычке хотел вз'ерошить свои волнистые волосы, но наткнулся рукой на оголенный череп и плюнул.

— Что вы забились сюда? В одиночестве?

Он поднял голову.

В промежутке между баней и палями, где он развалился на оставшихся от постройки бревнах, стояли «Прокурор» и Черный.

— Да что вы махру-то тянете? Вот папиросы, пожалуйста!

Они присели на бревнах и завели длинную беседу.

Сосновский ие знал, что Иванам досконально была известна его роль в так неудачно сорванном восстании; неизвестно было и то, что сегодня утром у них было тайное совещание, на котором поступок его обсуждался со всех сторон и удостоен был полного одобрения.

— Ведь если бы не курва эта, Софронов, — горячо закончил «Прокурор», общие прения, — то делов тут можно было ох-каких наделать! На шпану-то нашу, положим, надежды плохие, очень уже народ разнокалиберный; так, больше шелапуты; а татарва эта дружная! чисто орда!.. Их вперед пустили бы, а остальные...

Он махнул рукой и засмеялся.

— Остальных-то потом и за уши не оттащить бы; им только пример нужен фартовый!

— Н-да!—тонко улыбнулся и Черный.

— А затем... уже мы бы стали хозяевами, а не политика. Со своим-то пароходом да в южных морях... Ох-хо-хо! Живи — не робей!... Пушка там есть... другую бы поставили...

Если бы знал Сосновский, во что превращалась его освободительная затея в глазах этих решительных рецидивистов! Но он ничего этого не знал, хотя и догадался очень скоро, к чему клонят собеседники.

Его, так сказать, удостоили «заметить» и теперь экзаменовали со всех сторон, понимая, что залучить в свою компанию боевую интеллигентную силу очень бы не мешало.

Сосновский прекрасно понимал это.

— По крайней мере, сразу проникну в самую квинт-эссенцию этого мирка; проникну до самого дна их миросозерцания, и тогда... Тогда сами собою наметятся слабые пункты, по которым и можно бить. Когда-нибудь получишь отклик светлых мыслей и чувств. Ведь нет человека, в душе которого, хотя бы где-то на самом дне ее, под налипшей корой и грязью, не таилась сердечность и признательность.

Как дипломаты двух держав, хитрили друг с другом собеседники, высматривая слабые стороны противника и не давая проникнуть в свои собственные намерения.

— Вот что, Борис Иванович, — заключил, наконец, «Прокурор», в первый раз называя Сосновского по имени и отчеству, что служило у него знаком особого внимания. — Вы знаете, я работаю в сапожной починочной... по средам и субботам, с вечера до утра. Зато в четверг и в воскресенье — совершенно избавлен от всяких работ. Хотите в помощники ко мне?... Побеседуем... Может, и научусь от вас уму разуму... Я, ведь, жадный был до науки; только, вот видите, чем кончил... Да!.. Компания иногда соберется... Выпьем; все веселее! Ну, по рукам, что ли?

— По рукам, — улыбнулся Сосновский. — Только какой уж я помощник вам буду? Ничего ведь я в сапожном деле не понимаю.

— А шпандырь-то на что? Раз, другой как по рукам смажу, живо поймете! — и «Прокурор» весело хлопнул по плечу Сосновского.

— Я ведь не такой уже дурной человек, как вы, может быть, думаете, Борис Иванович. Вор я, это правда. Профессиональный, можно сказать, вор. Но крови на мне нет. Нарочно на кражу, бывало, никакого оружия не брал, одни отмычки... Да и бедных не обижал... Ты чего смеешься, Федор Петрович? — обернулся он к Черному.

— Да ты уже известный тихоня у нас; не в каторге тебе быть, а в послушниках... Вы только послушайте, как он поет, Борис Иванович, песни разные наши сибирские... Не человек, а дьявол какой-то! Душу всю из тебя вынет, аж совестно после.

Профессиональный вор и тюремный Иван-заправила, и вдруг — тихоня... все мешалось в голове у Сосновского.

Чорт знает, что такое?!.. Какие странные и своеобразные сплетения должны быть в психике этого человека! И сколько, может быть, хорошего в нем уже погибло.

Целая бездна загадок в одном человеке из мира отверженных! А сколько их здесь?!

— А что, по вашему, означал тарарам этот с конвоем, часовыми в коридорах и прочее?—вполголоса спросил Сосновского Черный.

— А по-вашему что?

— Да разное говорят, — больше на бунт сворачивают; татары будто бы затевали...

— Да и я так слышал, — равнодушно протянул Сосновский. — Только пустое это. Одни татары что могут сделать? Мало их очень... А наша кобылка, вы сами знаете, чего стоит... Да и трудно ждать какого-нибудь живого, серьезного дела от людей, привыкших к своей рабской доле.

Иваны переглянулись.

Двор в это время наполнился гомоном человеческих голосов, переливчатым лязганьем кандалов и неистовым топаньем бегущих ног.

Крепчайшие междометия, как ракеты, пронизывали весь этот гвалт.

— Шпанка с работ валится. Должно, и баланду принесли. Идемте-ка. Так я скажу Полоротому!.. Среда и суббота, не забудьте же!

Собеседники расстались.

— А башковатый молодчик этот Сосновский!.. И с зубом! — делился «Прокурор» своими впечатлениями с Черным. — Слыхал, как загнул он насчет привычки к рабской доле? Ведь это в чей огород пущено? Смекаешь?

— Как не смекать?! Парня, действительно, голой рукой не бери: склизкий, — усмехнулся Черный. — Политика... Они все такие! Ну, да ничего, дай срок, обломаем... Авось, наш будет, — довольно неуверенно закончил он, покручивая черные усы свои.

— Рабская доля, говоришь? Привычка?—думал он про себя с неудовольствием отталкивая котелок с рисовой кашей, услужливо поданный ему камерщиком вместо баланды. — Это я-то раб? Я?! Ха!! — он фыркнул и, сжав кулаки, обвел камеру злым взглядом.

Полураздетая кобылка, сидя по-турецки на широких нарах, с аппетитом уписывала баланду. Голодное чавканье и отвратительный запах черемши стояли в воздухе.

— Вот рабы! Все снесут, все вытерпят,—корми только.. А не я! Эх! Кабы знать, чем взял Сосновский у татарвы этой, что души в нем не чают, нехристи? Слово, что ли, знает какое? Мне бы в руки орду эту... Показал бы, небось, какой я раб!

. . . . . .

— Ты чего же это, Черный, опять на работу сегодня не вышел? А? Нешто порядок это?—загнусил вдруг над ним знакомый голос.

Черный поднял глаза.

Перед ним стоял старшой, Сидор Полоротый, и со своим всегдашним сконфуженным видом пытался сделать ему начальственный выговор.

— Не по поступкам ты поступаешь, Черный. Так нельзя, паря!—продолжал лопотать Сидор, выставив вперед кругленькое брюшко и помавая в воздухе пухлой десницей.—Нездоров ежели,— в околоток запишись с вечера! Порядки, чай, знаешь... А то, ведь, и в «десятый номер» угодить не долго... Начальник, паря, в отпуску теперь, и заместо его Патрин должность справляет. Этот не помилует, паря...

— Да вы чего, Сидор Семеныч, на людей-то набрасываетесь?—сорвался вдруг с нар Черный.

Полоротый испуганно захлопал глазами и затоптался на месте.

— Почем я вечером знал, что утром заболею? И потом, чего вы Патриным-то грозитесь? Слыхали, чай, пословицу: «не пугай...» и дальше он привел такую пословицу, от которой вся камера грохнула оглушительным хохотом, и которой, конечно, ни в какую печать не примут.

Неизвестно, чем бы кончилась эта сцена, но в камеру поспешно вбежал запыхавшийся надзиратель:

— Сидор Семеныч!—закричал он не своим голосом, едва переводя дух и все еще придерживая рукой потрепанные ножны своей шашки. — А я-то везде ищу вас... Пожалуйте к начальнику... Инспектор тюремный... сейчас прибыли... с пароходом... здесь будут...

— Ах ты, господи!—засуетился Полоротый.—Ах ты, господи! А я-то?... Беги скорей... скажи... впрочем, стой! Начальник, говоришь? Где? В канцелярии? Ах ты, господи! Шашка-то моя... там ведь. Как же я?... Беги скорей... стой! Давай твою! Ах ты, господи!.. Инспектор... Начальник... Бед-да, паря!

Пристегивая на ходу темляк дрожащими пальцами, Полоротый Семеныч засеменил из камеры во всю прыть своих коротеньких ножек; шашка с треском ударилась о косяк, посыпалась известка, и дружный хохот арестантов напутствовал его поспешное бегство.

— Тю-ю... Тю-ю!—ревела камера.

— Ату его! Хо-хо-хо! Заслабила гайка? Тю-ю!...

— Бросьте, ребята! Нехорошо. Меня, ведь, тянуть он за это будет... бросьте!—убеждал оставшийся надзиратель.

Его румяное лицо, широкое, как лукошко, и веселые серые глазки приняли огорченное выражение.

— Брось, ребята: дело есть!—крикнул Черный, соскакивая с нар.

Шум утих.

— Что же, на работу не пойдут, значит, после обеда?—спросил Черный, подходя к надзирателю.

— Не пойдут, Федор Петрович. Какая уж тут работа, когда сам инспектор... Приказано, чтобы все, то-ись, в сборе...— не без чувства некоторой почтительности отвечал тот.

Да и как было не питать ему этого чувства, когда судьба его во многом зависела от расположения таких Иванов, как Черный.

У всего надзирательского персонала еще живо было в памяти увольнение от службы с крупным скандалом такого дошлого и ретивого исполнителя велений свыше, каким был унтер Антон Змеев, или по-просту Гадюка, как звала его вся тюрьма.

Уж кажется—ни сучка, ни задоринки за человеком: не пьет, не курит; в карты не то чтобы с арестантами, как другие, а и со

своими, надзирателями, то-есть, ни-ни! Как увидит колоду—к начальнику! В «починочной» сапожники ночью бутылку другую раздавят—он тут-как-тут, и к начальнику. Слово сказал лишнее—туда же... Волком взвыла тюрьма; просто ложись да помирай. Централ, да и полно!

Видят Иваны: дело плохо. Собрались, пошушукались раза два, три, жиганов, да промотчиков самых, что ни-на-есть отчаянных, по одиночке перебрали, на путь наставили да и подвели мину.

Через неделю «сделался в тюрьме шум»: пропало из сапожной мастерской штук десять казенных вытяжек. Туда-сюда... Пришел старшóй, пришел помощник,—обыск. Перебрали все камеры, дошли до надзирательской 2 корпуса: может, там где-нибудь под печкой арестанты спрятали казенное добро.

Глядь, а из-за сундука Змеева торчит уголок вытяжек, и как раз роковые буквы А. Т. на нем обозначились.

Сунулись туда: пара есть.

Открыли сундучок: там еще две; сдвинули его с места, а под ним половица прорезана, и там целый склад: и кулек крупчатки, и кожи, и бутылок десять водки, и арестантские новенькие халаты...

Стоит Змеев и только глазами хлопает, ничего не понимает.

Накричал тут на него помощник.

Тот, было, в об'яснение, да куда тут! Следствие назначили и через два дня нашли жиганов, яко бы виновных в сбыте краденого товара Змееву. Их выпороли, а еще через два дня не стало в тюрьме Гадюки—отчислили.

Недели две потом в карты резались и как сыр в масле катались жиганы, добровольно пострадавшие для спасения отечества от усердия лютого Гадюки.

И все знали, что просто мина была подведена под Змеева; и начальство догадывалось, а ничего не поделаешь; уж слишком чисто и форменно все было обделано.

И, вспоминая эту историю, с невольным почтением и даже искательством взирал румяный наивный солдатик «сухарник» (сверхсрочный) на стройную фигуру лидера темной и могущественной партии Иванов.

Арестанты кончили обед.

Одни, опрокинув на полку тщательно вытертые бачкú, с наслаждением насытившихся людей растянулись на облезлых крашеных нарах и лениво перекидывались ироническими замечаниями по поводу инспекторской ревизии.

Другие же, горя нетерпением поделиться новыми впечатлениями по соседним камерам, спешили под приличным предлогом выбраться за дверь.

Будто мимоходом, с напускным равнодушием, потягиваясь и гримасничая, заявляли они в пространство, что, де, покурить

охота, инда в груди саднит, а табаку нет ни крошки... Пойти, мол, подстрелить разве у Пашки Горячева... С прошлой недели, мол, должен... и не отдает, такой-сякой...

Слушатели сочувственно «подругивали» и, сплевывая в сторону, старались принять самый равнодушный вид.

Они отлично понимали, в чем тут штука, какого табаку «ему» нужно; все знали, что скорее в баланде можно встретить полную порцию мяса, чем подстрелить что бы то ни было у такого отчаянного жигана-желтохалатника, как Пашка Горячев; но тем не менее все принимали эту невинную ложь, как необходимый долг арестантским приличиям; так требовал «хороший тон».

Большинство столпилось около Чёрного, который с патетическими жестами потрясал краюхой хлеба перед смущенным надзирателем.

— Так и передай Полоротому, Назар Федотыч!—возбужденно говорил он. — Так и передай! Мне они рот не заткнут, шалишь! Я — не раб им! Не-ет! Мы сами тертые... Как инспектор во двор, так я ему эту пайку к рылу: — Извольте, мол, посмотреть, ваше пр-во, какой глиной арестанта кормят на Сакàлине... За два-то миллиона, что вы каждый год из Питера сюда отпускать изволите. Взгляните-с! Обратите ваше внимание... Да-с!... Полное и просвещенное... Это что? Закал?... А мука просеяна? Это что? Солома! В хлебе—солома! В хлебе на вершок закалу! А еще работу спрашивают. От звонка до звонка—выдумали. Уголь возить... воду возить... бревна возить... В Рассее скотина все это делает, а здесь люди... Каторжные,—да ведь люди же!

— Правильно я говорю?—обвел Чёрный сверкнувшим взглядом свою аудиторию и воззрился затем на беспомощную фигуру краснощекого надзирателя.

Тот пыхтел, хлопал глазами, краснел еще больше и даже уронил с головы шапку, залезая всей пятерней в вихрастый затылок свой, нелепо подстриженный «под польку».

— Верно говоришь! Пр-равильно!—загудело кругом.—Может, еще почище их люди между нами найдутся...

— Мне ежели бы теперича да по вольной жизни. Ох-хо-хо!— прорывались отдельные замечания в общем одобрительном гуденье.

— Так, ведь, скотину, и ту в работе овсом хороший хозяин прикармливает в Рассее-то,—продолжал свою мысль Чёрный, достаточно насладившись произведенным эффектом. — Мы тую же работу сполняем—а чем нас кормят? Это разве хлеб?

Нервным движением Чёрный вырвал из пайка большой кусок мякоти и, стиснув в руке, выдавил между пальцами длинные змейки жидкого и непропеченного хлеба.

— Думают—кобылка, так она все слопает... и молчать будет. Думают—к рабской цепи привыкли мы... Арестант настоящий, правильный вывелся! Все сойдет, мол?! Не хочешь ли вот

чего?—черный сделал крайне неприличное телодвижение. — Видали мы вашего брата... не сробеем тоже... А то — кобылка!

— Да помилуйте, Федор Петрович, — взмолился, наконец, надзиратель, напрасно кидая вокруг себя отчаянные взгляды, молящие о сострадании. — Что же я-то могу тут? Нешто моя в том вина? Теперича сами вы довольно меня знаете... я не такой, чтобы то-ись...

— Знаю я вас! — прервал Чёрный. — Белая овца, черная овца — все одного стада! Не делаешь, потому что не можешь. Дай-ка тебе мочь да силу, и ты, брат, меж пальцев не пропустишь... Себя довольно даже окажешь... Да не о тебе и речь тут. Я не желаю стишка делать, чтобы никто не смел сказать, что Черный подводит кляузы. Передай Полоротому все, что я говорил тебе... Для того и говорил... Ему хотел самому сказать, да куда тут; сам видишь, ум последний он потерял, как про начальство услышал; куда уж тут...

И надзиратель, и сам Чёрный, и его слушатели,—все отлично знали, что заявление это передано не будет.

Надзиратели не долюбливали своего старшого, да и боялись мести арестантов в случае репрессий, которые последовали бы за доносом.

Но все это было театрально-красиво, и сознание собственного благородства, хотя и мишурного, приятно льстило арестантскому самолюбию.

Черный умело играл на этой чувствительной струнке, и это создавало ему слушателей.

Несчастный краснощекий Назар Федотыч турманом вылетел из камеры, обрадованный неистовым гвалтом, который доносился со двора и призывал его к обязанностям, избавляя от только что вынесенной нравственной трепки.

С видом победителя отправился туда же и Чёрный, за которым немедленно повалила вся камера.

На дворе шли горячие дебаты о целях приезда тюремного инспектора.

Арестант болезненно себялюбив. Чем безотраднее его прошлое и безнадежнее будущее, чем больше остается ему каторги, чем большую часть жизни провел он в тюрьме, тем дороже ему собственная особа, тем ревнивее относится он к собственному здоровью и благополучию, тем ярче и нелепее таит он надежды— «когда-нибудь переменить участь».

Собственная особа служит для него центром не только личного его миросозерцания, но и всех событий, совершающихся вокруг. Нет ни одного общественного события, в центре которого не стояла бы тюремная кобылка с ее печалями, нуждами и вожделениями.

Вот и теперь инспектор, наверное, привез «манифест». — Только покажет ли?... Начальство не даст, поди, не допустит;

закупит его; отвалят ему денег тысяч пять, а то, скажем, и все десять,—он и уедет, с чем приехал. Им ведь невыгодно манифесты давать. Сами подумайте: куда они денутся, если нас никого на острове не останется?

Шумит, гомонит кобылка.

В такие минуты авторитет Иванов терпит большой ущерб; нужно огромное уменье, чтобы поддержать арестантский дух, а, следовательно, и влияние его представителей на шпанку. Мираж сладких надежд на благодеяние свыше настраивает большинство на примирительный, «соглашательский» лад.

— Расходилась кобылка... И чорт принес этого инспектора!— думал Чёрный, досадливо обходя галдящие кучки арестантов. Никто не обращал на него внимания.

Нужен сильный эффект, чтобы вывести эту толпу из рабского гипноза; пробудить в ней арестантское самосознание и ценою жертвы во имя ее интересов перетянуть общее внимание и сочувствие на свою сторону.

— Кроме того... кроме того, надо доказать этому Сосновскому, что не все рабы между нами!

Все существо Чёрного восставало против этого названия: «раб!»

— Не миновать, видно, сушилки, да наручней. Еще всыплют, пожалуй...—мелькало в голове Чёрного.

— Э! Да в первый раз что ли!—И он как-то весь подобрался, злобно оглянувшись кругом и крепко сжав свои властные губы.

Противоречить толпе сейчас было бы бесполезно и даже опасно для собственного престижа.

Это значило бы отнимать у нее любимую и единственную игрушку.

Вон кобылка тюкает на Прокурора.

Доехала заядлого Ивана ликующая болтовня кобылки, надежды ее на манифест начальства; надежды—неприличные истинному арестанту, как идущие вразрез с его положением воюющей стороны.

Не выдержал Прокурор и разразился филиппикой против общего настроения.

Как и следовало ожидать, горячий оратор потерпел полное крушение.

— Откуда вы взяли облегчение?—кричал он толпе, стоя на ступеньках лестницы своего корпуса.— Очень даже глупо каждый год ждать манифеста... Или «им» только и заботы, что о нас? Да и раскиньте-ка сами: за что нам давать манифесты? За какие такие наши дела и подвиги?... Отпусти нас теперь на родину, мы что же, по-вашему, землю пахать будем? Из каторги да в каторгу пойдем? Ежели тюрьма да карты весь дух человеческий, крестьянский из меня выели, нешто годен я на что те-

перь? Нешто не родимый дом нам тюрьма теперь? Или вы думаете, они там этого не понимают?

Он кричал все громче и громче, размахивая руками, не слушая возражений и стараясь покрыть голоса недовольных.

Но последних слов его уже не было слышно.

Гул протеста все увеличивался, подобно морскому прибою, и, наконец, разразился оглушительным тюканьем.

— Тебе дай волю, всех бы рад перевешать! Известно — Прокурор!

— Товарища засудил... Иваны вы проклятые; житья от вас в тюрьме не стало!

— Насмешки одни строишь... думаешь, тебя нет умнее! Тю-ю! — слышалось отрывками среди общего гвалта и целого ливня отборных ругательств.

Над массой красных, озлобленных лиц мелькали сжатые кулаки.

Откуда-то вылетел жестяной котелок без дна и, звонко ударившись в стену барака, рикошетом задел плечо неудачного оратора.

Весь подавшись вперед, вытянув шею, красный от возбуждения, пылающим взором впился он в своих противников, чувствуя, что еще минута, и свалка неизбежна.

Момент был критический.

Надо было выручать зарвавшегося товарища и спасать достоинство Иванов.

Чёрный оглянулся.

— Мотчик!—таинственно кивнул он стоявшему в задних рядах желтому халату. — Поди сюда; дело есть!

Трудно было расслышать что-нибудь среди адского шума, и они отошли в сторону.

— Ты слышал, что я «сухарнику» говорил давеча в камере?— обратился Чёрный к Мотчику.

— Слышали, Федор Петрович; какже-с, слышали! Это—про хлеб, то-ись, что инспектору казать сулились?—подхватил тот, подобострастно ловя взгляд собеседника и запахивая полы желтого дерюжного халата, под которым ничего не было, кроме грешного и грязного тела. Каким-то верхним чутьем изголодавшегося человека моментально смекнул он возможность хорошей подачки; вся его фигура живо изобразила готовность устремиться куда-угодно и сделать что-угодно, по первому знаку принципала.

— Коль слышал, наставь кобылку... Скажи Крученому, Дергачу и другим, кого увидишь, пусть то же делают. Как я заговорю со шпаной, валяйте... Три дня мой хлеб получай.

— Все равно — не дадут в сушилке-то! — проворчал про себя Чёрный и, сунув Мотчику несколько медяков, быстро стал обходить ревущую толпу, пробираясь к ступенькам крыльца первого корпуса.

Вся эта сцена заняла не более нескольких секунд и, когда брошенный чьей-то рукой жестяной котелок задел плечо взбешенного оратора, когда он ощетинился, как кабан и, казалось, схватка была неизбежна, рядом с ним на крыльце выросла высокая фигура Чёрного.

Его бледное, как бы скучающее лицо, небрежная поза и полнейшее спокойствие не могли не подействовать на толпу своей слишком явной дисгармонией с общим настроением. Чёрный поправил шапку и, потирая себе висок, нервно зевнул. Затем, все еще держа у виска свою левую руку и как бы показывая, что весь этот шум до смерти надоел ему своей глупостью, он болезненно сморщился и просящим взглядом обвел стихающую толпу.

В задних рядах послышалось шиканье и сдавленная ругань. Чёрный взглянул туда: его посланцы действовали усердно.

— Господа каторжане! — звонко крикнул наконец Чёрный, выпрямляя свой стан. Глаза его внезапно вспыхнули, и все лицо, осветилось выражением дикой энергии.

— Господа каторжане! — он сорвал с головы шапку и сделал ею широкий жест в воздухе.

Все смолкло сразу.

Глаза всех с любопытством устремились на нового оратора. Прокурор прислонился к двери позади его и, засунув руки в карманы, небрежно посвистывал для сохранения собственного достоинства.

— Журавли в небе хороши, но синица в руках лучше! — продолжал Чёрный, набрасывая шапку на затылок и складывая на груди руки. — Манифест будет ли, нет ли; а вы, чай, видите, чем нас кормят... Пищия и без того не оченно барская! хлеб да баланда; одно слово — режим. А между прочим, поставьте ушат с рыбной баландой рядом с парашей... Человек с воли ни в жисть не угадает, которое—что. Взять, к примеру, теперь хлеб: глина!.. Что же, товарищи, молчать мы будем? Или окромя манифестов и ждать нам нечего? Или без манифеста уж и еды человеческой дать нам нельзя? Так ли опали мы духом, чтобы землю есть, да еще в землю кланяться: манифеста, мол, ждем от вашего высокого благородия! Разрешите, вместо глины, хлебца покушать рабочему человеку! Или уж вконец оскотинели все мы, товарищи?

Чёрный патетически взмахнул руками, сделавши шаг вперед к самому краю площадки.

— Поддержите мазу, ребята! — начал он с новой силой. — Как инспектор во двор, так я ему хлеб: извольте, мол, ваше пр-во, полюбопытствовать, как...

— По ме-стам! Что за молебствие?! — раздался яростный окрик начальника, и неизвестно откуда взявшиеся надзиратели суетливо забегали по двору.

Шпанка шарахнулась.

Под целым ливнем начальственной ругани несчастные надзиратели принялись разгонять ее по камерам.

— Живей, живей, ребята! Расходись! — суетились они, нетерпеливо побрякивая ключами. — Приказано поверку... Сейчас инспектор будут... генерал и все начальство... Вались, вались живее!

Без обычного гомона и перебранки, без шуток и веселого смеха растекалась толпа длинными змейками по всем направлениям.

Слышался только неясный топот, заглушенный гул разговоров вполголоса да звяканье кандалов.

Толпа была заряжена, это чувствовалось всеми. У всех слегка замирало сердце при мысли о близкой развязке готовящегося скандала.

Там и сям, сквозь тихое, но возбужденное гуденье толпы можно было уловить имя Чёрного.

Желтые халаты не теряли драгоценных последних минут. Они суетились между отдельными потоками арестантов и повсюду слышалось торопливое: Чёрный претензию на хлеб заявляет. Поддержать бы надо, ребята!

Еще недавно полный жизни, полный страстей, широкий двор опустел.

Только пыль, поднятая сотнями ног, легким туманом золотилась на солнце, да с высоты попрежнему доносились серебристые трели жаворонка.

Но вот раздался дребезжащий звонок; распахнулись ворота, и одна за другою на двор в'ехали, по числу копрусов, четыре тележки, с верхом нагруженные еловыми ветками. То возвратились камерщики, посланные начальством в тайгу сразу же после известия о приезде инспектора. Хрипло дыша, с вытаращенными глазами, напрягая последние силы, дотащили они тяжелые тележки, каждую пара людей — до своего корпуса.

Подручные, с ног до головы забрызганные известкой, быстро сбежали по ступенькам и принялись таскать огромными охапками привезенную зелень по камерам.

Там только-что была закончена побелка; свежая зелень еловых и пихтовых веток должна была послужить последним художественным ударом доморощенных декораторов, к вящшему удовольствию начальства и к пущему сокрытию санитарных прегрешений.

По коридорам слышалась беготня и звяканье ключей, прерываемые отдельными возгласами.

Начальник тюрьмы пришел в надзирательскую.

Набегу расчесывая волосы роговым гребнем, промчался оттуда прифрантившийся надзиратель Полещук.

В дверях каждой камеры неизменно показывалось его угреватое красное лицо с вихрами непокорных волос, густо смазанных деревянным маслом.

Неизменно орал он гнусавым голосом: — Промотчики, выходи на линию-у-у! — И тотчас же слышался топот и скрип его новых сапог далее по коридору.

Смущенно озираясь и запахивая полы желтых халатов, повыползали из камер первого корпуса человек пять промотчиков.

Скоро к ним присоединились еще человек десять из других корпусов.

Все они были выстроены перед дверями надзирательской комнаты и уныло переглядывались, не ожидая, по привычке, от своей судьбы ничего хорошего.

— Все? — спросил начальник, выходя из комнаты.

— Так точно-с! — неуклюже подскочил к нему Полещук, показывая плоскую ладонь с кривыми пальцами рядом со своим угреватым лицом, что означало отдание чести.

— Ах вы, мерзавцы, мерзавцы! — сердито тряс головой пастырь добрый, созерцая свое заблудшее стадо.

— Вы кровь мою пьете!.. — протянул он сквозь стиснутые зубы, выбивая частую дробь концом своей тросточки по полу.

— Раскрой халат, негодница! — круто прервал он свои упреки, обращаясь к высокому, страшно худому арестанту с лихорадочно блуждающими глазами и бессмысленной улыбкой на желтом, испитом лице.

Тот вспыхнул до корня волос и, виновато улыбаясь, дрожащими руками открыл темное, худое, как скелет, тело.

— У-у, варвар! — пригрозил начальник, подрагивая в воздухе концом тросточки, и пошел по камерам, крикнув расступавшимся промотчикам:

— Пошли, дьяволы, в надзирательскую! Получай новый полняк! Да по местам, живо! Не копаться у меня!

Сохраняя унылый вид походки, нога за ногу, поплелись желтохалатники в надзирательскую.

Но повеселевшие лица и лукавые перемигиванья да подталкиванья заставляли предположить, что близкое присутствие начальника производило большее впечатление на них, чем его красноречие.

Действительно, через мгновение из надзирательской послышались возня и полузадушенный хохот с приправой крепких словечек.

— Ну, и штаны! Ах, чтоб тебя... Одно слово: брюки!

— А бушлат-то? Короче не нашли, видно?

— Да полно вам, жиганье окаянное! — гудел вполголоса надзирательский бас. — Неравно начальник услышат...

— Полняки выдают? — высунулась из соседней камеры голова Чёрного.

Подозрительно оглянувшись, он прошмыгнул по коридору, и скоро слабые протесты надзирателя слились с его ироническими восклицаниями в оживленном гуденьи пятнадцати голосов.

— Ага! — торжествующе звенел он. — Сдрейфил, идол? подняки выдает? видно инспектор — не свой брат!

— Бросьте, Федор Петрович,—прервал молящий голос. — А вдруг услышит!

— Пусть слышит! По годам людей голыми держит, а как начальство приехало, так и хлюздить начал, полняки выдавать... Туда же: «кровь мою пьете»! передразнил он при общем хохоте.— Ну, да я ему еще бенефис сегодня устрою. А на вас, ребята, в надежде я! Поддержите мазу-то!

— На общую повер-ку-у! Пошел, выходи на дво-ор! — отчаянным воплем донеслось откуда-то издали.

— Пошел, пошел, ребята! — заторопил Полещук. — Расходись по камерам!

И через минуту его гнусавый голос уже разносился по коридору, с особенным шиком выкрикивая окончания стереотипных, давно очертевших всем формул арестантского обихода.

Солнце уже заметно склонялось к западу. Жар свалил. Мошки змеистым столбом толклись в неподвижном, теплом воздухе. Ласточки косыми штрихами чертили над самой землей, пронзительно взвизгивая.

Серыми шпалерами вытянулись каторжане по обеим сторонам широкого двора.

Каждая партия, человек в двести, заняла место против своего корпуса.

Люди стояли в две шеренги, «в затылок» друг другу, о чем особенно хлопотали надзиратели из «сухарников».

— В затылок, ребята! становись в затылок! сохраняй дистанцию!

На всех были халаты в рукава, стянутые суконными кушаками, и на головах разнокалиберные шапки, переделанные из форменных.

Своими фасонами они приводили в отчаяние начальника, который обходил ряды, ругаясь на чем свет стоит.

Наконец, установка кончена; все пересчитаны, надзиратели помещены в интервалах отдельных колонн, и старшой, Полоротый Семеныч, весь в поту от усердия, передал начальнику записочку с общим числом арестантов и с количеством их в каждом корпусе.

Наступило напряженное ожидание.

Непривычные к дисциплине, люди стояли небрежно, перешептывались и перекидывались прибаутками; кое-где украдкой задымились цыгарки.

Яшка Дергач, засунув руки в карманы, нахально держал папиросу прямо в зубах и потешал всех отчаянными гримасами за спиной начальника.

Едва тот поворачивался, как лихой малый ловким движением губ моментально перехватывал цыгарку огнем прямо в рот

и с невинным видом глядел то на Идола, то на прыскавших со смеха товарищей.

Но вот Идол опять повернулся спиной, и папироса вновь появляется из своего заключения, возбуждая сдержанный хохот публики.

— Тише вы! — грозно рявкает начальник.

Он злится. Нервы и без того взвинчены ожиданьем, а тут еще эти скоты.

— Еще претензию заявят, пожалуй! — думает он, нервно похлопывая себя по сапогу тоненькой тросточкой. — Иванов развелось много... Черный ненадежен особенно... — Запорю! — решает он, скрипнув зубами. — И чорт унес Петра Алексеевича в отпуск! Отдувайся теперь тут за него!

Наконец, дребезжит сигнальный звонок, и в ту же минуту огромные ворота настежь распахиваются.

В них показывается небольшая кучка людей в мундирах с золотым шитьем и с регалиями.

Начальник военным шагом идет навстречу и, приложив к козырьку руку, рапортует о полнейшем благополучии и благоденствии вверенной ему тюрьмы.

Люди в блестящих мундирах, побрякивая регалиями, среди мертвого молчания подходят к людям в серых халатах, обнажающим полуобритые головы; здесь брякают кандалы. Теперь два враждующих лагеря стоят друг против друга. Они молчат и смотрят.

Лица одних красны; глаза слегка посоловели после обильного обеда с возлияниями и тостами.

Лица других землисты, серы, как их халаты, а глаза или сверкают лихорадочным огнем бесшабашной головушки, или бесцветны и тупы.

Косые лучи солнца золотят верхушки палей.

Длинные тени легли по двору от корпусов и стоящих людей.

— Немая картина! — невольно думает Сосновский, стоя в заднем ряду своей шеренги, подальше от приезжего начальства.

Но вот губернатор, бравый седой генерал, увешанный на этот раз крестами, с лентой через плечо, в недоуменьи взглянул на низенького плотного человечка с ястребиным лицом, шедшего с ним рядом, и что-то сказал ему на ухо. Тот лениво улыбнулся и, бросив зубочистку, которой он, поглядывая кругом, прочищал свои белые, как камень, зубы, резко крикнул.

— Здорово, арестанты!

Серая толпа всколыхнулась и недружно, вперебивку прокричала обычный привет.

Высокая, сутуловатая фигура доктора Ларова в непривычном мундире сконфуженно спряталась позади чиновной кучки. Его открытое, энергичное лицо сангвиника покраснело от негодования при жестоких словах инспектора.

Громко пыхтя и заложив назад руки, он, видимо, едва сдерживался, сердито поглядывая на толпу, кричавшую: Здравия желаем вашему пр-ву!

— Ждите манифеста теперь, господа арестанты! — явственно донеслось вдруг откуда-то среди еще неутихшего гомона.

Это восклицание и, особенно, ядовито подчеркнутое слово «арестанты» вызвало гневное выражение на сытое лицо инспектора.

Он стряхнул с себя послеобеденный сладкий туман и, вопросительно взглянув на генерала, сверкнул ястребиными глазами на смущенного начальника тюрьмы.

Скрипнув зубами, с побледневшим лицом бросился тот в сторону голоса. Его черная разбойничья борода затряслась, а руки нервно схватились за эфес шашки.

Надзиратели торопливо засуетились, отыскивая виновного смельчака и натыкаясь везде на непроницаемые лица арестантов, хранивших гробовое молчание.

В эту минуту в одной из колонн произошло движение; оттуда с пайкой хлеба в руке вышел Чёрный.

Все в недоумении остановились.

Начальник бросился, было, к нему, но было уже поздно.

— Эт-то что? — спросил удивленно инспектор, с негодованием меряя глазами подходившего Ивана.

— Что это — не знаю! А начальство наше называет хлебом! — звучным голосом крикнул Черный, глядя загоревшимися глазами на гневную фигуру инспектора. — Обратите ваше внимание, ваше высокое пр-во, на то, чем кормят здесь рабочего человека, арестанта, как вы изволили назвать.

Чёрный говорил все громче и громче, теряя самообладание и, видимо, сам себя взвинчивая.

— Вы приехали сюда осмотры делать, порядок узнать? Смотрите же, вот!

Он судорожно мял несчастную пайку, и черные сосульки жидкого, липкого хлеба ползли из-под его пальцев.

— Вы были на кухне, и вам дали там для пробы «супчик»... Вы нашли его прекрасным... На ваших глазах он был взят из общего котла, остатки будто обеденные... А известно ли вам, что за час до вашего прихода в этот котел был брошен кусок свежего мяса? Закуйте меня в кандалы, в наручни! Заморите, распните меня!.. Вот, я весь тут!

Чёрный разорвал на себе рубаху и обнажил грудь.

— Делайте со мной, что хотите, если я соврал вам хоть одно слово! зайдите в камеру; там у меня спрятан бачок баланды, нашей, арестантской баланды, а не «супчик»!

Чёрный кричал уже во весь голос, махал бесформенным куском хлеба. На губах его запенилась пена, а глаза дико сверкали.

— Правду ли я говорю, ребята? — обернулся он к арестантам, хранившим угрюмое молчанье.

Поднялось глухое гуденье.

— Эт-то что? Эт-то что? Бу-унт? — все с большим и большим негодованием повторял инспектор, растерявшийся от неожиданного потока речей, вырванных из наболевшей арестантской груди.

— Эт-то что тако-э-э?! — крикнул он вдруг, опомнившись.

— Взять! — и смуглый короткий палец с бриллиантовым перстнем протянулся по направлению к дрожавшей от нервного волнения, растерзанной фигуре Чёрного.

— З-запорю! — сдавленным шопотом прохрипел начальник, подскакивая к несчастному.

Тот только сверкнул на него глазами.

Двое надзирателей уже держали его за руки, а третий уцепился сзади за ворот халата.

Но инспектор, человек бывалый и не в таких передрягах, уже пришел в себя.

— В кандалы, наручни и на трое суток в карцер без горячей пищи и... не трогать! — медленно произнес он, не замечая, что Черный уже в кандалах и, видимо, щеголяя своей современностью и благородством.

— Пойдемте, господа, осмотрим камеры! — спокойно продолжал он затем, доставая слегка дрожащими пальцами папиросу из дорогого, с резьбой и множеством вензелей портсигара.

Вся компания направилась в один из корпусов, а надзиратели, по знаку начальника, поспешно стали разводить каторжан по камерам остальных помещений.

— Потартали сухарники Петровича-то нашего прямо в сушилку! — Ну, и смелый же, шут его задави! — оживленно толковала между собою кобылка, глядя вслед Чёрному, скрывшемуся вместе с конвоем своим за низенькой, тяжелой дверью в фундаменте 4 корпуса.

— Надо ублаготворить его там! — суетился Яшка Дергач, подстрекаемый Мотчиком, который, не имея в тюрьме никакого голоса, не решался выступить с собственной инициативой. — В складчину надо! я хлеб свой отдаю, клянусь красотой! кто дает чего, говори!

— Э! якши сказал Чёрни! крэпка сказал! настояшши арслан (лев) рэвэл!.. Мой табак даст, — отозвался высокий красивый грузин.

— Я молока бутылку... Я масла... — с энтузиазмом подхватывали другие, нестройной волной вкатываясь в раскрытую дверь своего барака.

— Что это? — не может решить Сосновский. Только поза, вызванная моими неосторожными словами о рабской доле, или

человеку, действительно, невмоготу стало, и он осмелился заговорить со своими тюремщиками не на языке заискивания и угодничества?

Его соседи-курды только прищелкивают языками от восхищения и посмеиваются.

Их тоже захватил отчаянно-смелый порыв Чёрного.

Узкая, темная конурка. Длины около двух с половиной, а ширины всего в один аршин.

Потолка в темноте не видно; но он высоко, аршина четыре.

Совершенное подобие щели.

Бревенчатые стены; вдоль одной из них узкая скамья.

Высокому человеку поместиться на ней трудно.

Чёрный лежит на спине, положив на грудь скованные руки. Он согнул ноги в коленях. Это не для удобства, а поневоле; они и так упираются в косяк низенькой, массивной двери. В ней окошечко, в квадратную четверть, перекрещенное толстой железной решеткой.

— И к чему эта решетка? — думает Чёрный. — Кто может пролезть через такую дыру?

Окошечко выходит в надзирательскую, вдоль которой расположены секретные, или иначе сушилки.

В карцере душно.

Вечная темнота и прелый, сырой воздух. Изредка тяжелые, теплые капли падают с отпотевшего потолка.

Они противно шлепают в лицо или на голые руки.

Пахнет гнилью и клопами. Мокрое от испарины тело чешется и огнем горит от бесчисленных укусов.

Рубашка липнет к плечам и стесняет движения; а тут еще руки скованы короткой тяжелой цепью.

Третьи сутки досиживает Чёрный. Невесело у него на душе. Не впервые сидит он в секретной, и всегда внутренний мир его незыблемо сохранял свои привычные границы.

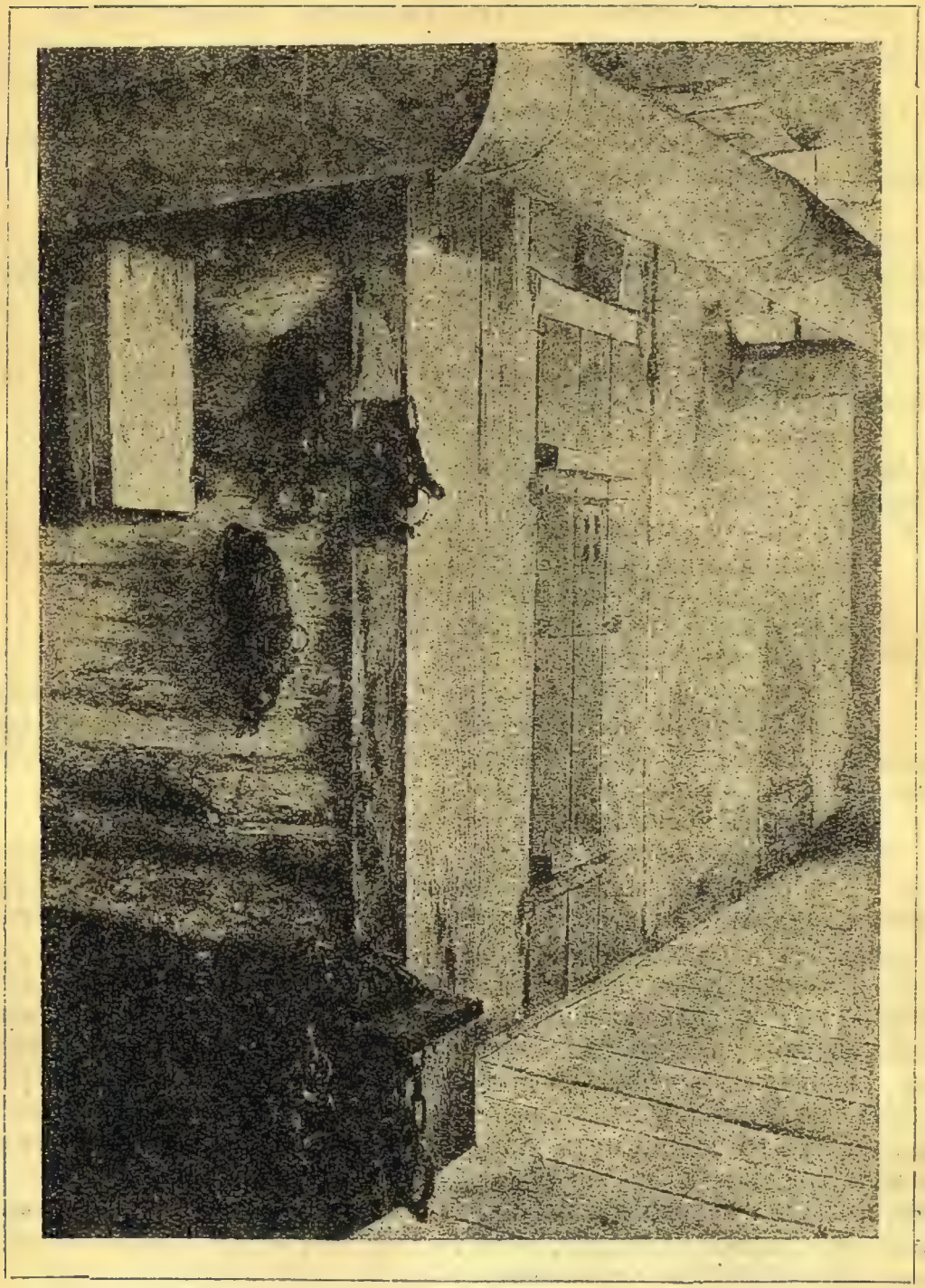
Душевное равновесие его не нарушалось.

Теперь совсем не то. Он точно выбит из колеи. Точно что-то внутри его сжалось и лопнуло. Расползлась какая-то нагрубелая кора и тщательно сжатое под нею содержимое, общечеловеческое, а не кастовое, не каторжанское, полезло в голову изо всех трещин.

Он боролся, как мог; он вскакивал со своего жесткого ложа; метался в своей тесной и темной клетке...

Он удивлял посещавших товарищей, грубо отвергая их посильные приношения.

В мозгу вставали образы давно забытого прошлого; роились поздние сожаления, душила бессильная злоба.



Сушилки.

Мрачные, нелепые предчувствия холодом обдавали душу.

— Заболел никак?.. С жары, должно... Кобылка проклятая... Трусы... За вас отдуваюсь, Иуды! смолчали... Головой выдали! И всегда так! У-у! черти!

И он скрежетал зубами, впиваясь пальцами в ворот рубахи, до боли прижимая к груди железные наручни.

В голове мутилось; кровавый туман вставал перед глазами; прыгали огненные точки; вертелись радужные колеса.

И всегда одно и то же... Одно и то же.

Я—это не я! не Федор Охрименко, человек просто, вот как другие все люди бывают, а тюремный Иван, Федор Петрович Чёрный.

И нельзя слово сказать по-просту! ни встать, ни сесть, ни закурить, ни плюнуть!

На все ужимка, на все ухватка... везде молодечество, выверт! Везде свою роль помни.

Следи... бойся, — вот-вот заметят, вот на-смех подымут... Уважение потеряешь... По тюрьмам слава пойдет: не Иван, мол. Чёрный, а баба...

Ни одного настоящего друга.

И так многие, многие годы.

И впереди — все то же! одно и то же!

Живи, как волк, как ястреб; один и один...

Кругом 800 человек... и один!

И что все они? Мразь, слякоть одна! Шпана, быки рабочие!

А опади духом на один час, ослабей... Попробуй открытой душой... Житья не будет! Замнут! Свои же Иваны помогут,—какой ты арестант! — скажут.

Семнадцати лет попал он в каторгу в первый раз.

Теперь ему сорок.

Три рецидива могли бы насчитать за ним судьи, если бы могли доказать, что Хведько Охрименко, Васька Зарез, Иван Пройдисвет и Федор Чёрный—одно и то же лицо.

Громила, гроза экономий южного края России, человек вне закона «по вольной жизни», в тюрьме Чёрный всегда был столпом арестантских законов, защитником старых боевых традиций, одним из изворотливых полководцев тысячелетней войны людей преступления против людей наказания. Бывали тяжелые минуты—хотелось иногда как-то выпрыгнуть из своей скорлупы, плюнуть на свое «иванство», как-то расшнуровать себя и сделаться более простым. Но потом он сурово душил в себе эти проблески. Слишком привык он к первой роли; слишком высоко забрался, слишком заметным был человеком на каторге.

Сегодня он болен. Это—ясно.

А тут еще предательство струсившей шпанки, темный, невыносимо-душный, зловонный карцер, мириады клопов, короткая цепь наручней...

Цепь! Рабская цепь...

И эти тяжелые образы прошлого...

И вспомнилось Чёрному его разбойное, арестантское прошлое, вспомнились встречи и столкновения с людьми, нелюбовь к оседлости и труду, жажда передвижения, молодечество, кровь.

Двадцать пять лет тюремного мыканья!

Двадцать пять лет угара и молодечества; редко искреннего, чаще притворного, когда на душе скребут кошки... молодечества из арестантского честолюбия...

Почти сорок лет этого честолюбия, с самого детства, с младенчества.

Все отдано ради него. Все попрано, раздавлено под грязными арестантскими котами...

И ничего не вернуть... Ничего... Поздно!

Чёрный метался на своем ложе и неистово всех проклинал: проклинал, сам не зная—во имя чего.

Лихорадка трепала его, как ветер флаг: все спуталось в его голове, сорвалось с мест и хлынуло на него.

Он инстинктивно подогнул колени, как бы защищая живот от многочисленных ударов, и застонал.

Нервы напряглись, в висках стучало, как на хорошей постройке, кровь приливала к голове неправильными приливами, и в полубреду проносились какие-то оскаленные лица, сочилась детская кровь.

Назойливая мысль о том, что прошла жизнь, что плохо и не так жил, и ничего не вернуть и не исправить, буравом буравила мозги.

До физической боли, до невозможности пошевелиться и вздохнуть захотелось ему вдруг в родные места, поближе к Днепру, где—ширь, раздолье, приятная холодная вода, костры на берегу, приятели, пригожие южные девушки. Захотелось сейчас же, немедленно, безоглядно.

Днепр разливался перед ним, как живой; только протянуть руку и—вода; только стать на ноги и—там, у костров.

Он рванулся и застонал. Но цепи знали, что делать—цепи залязгали и зазвенели. Цепи знали, что делать—цепи не пустили.

Чёрный забился, на губах выступила пена, в мозгу жгло, лихорадка делала свое дело.

— Прошла жизнь!—пронеслось опять. И от этой нестерпимо калившей мысли, от бессильной злобы, от ужаса настоящего, от спертого воздуха и тысячи одной каторжной гадости, не своим голосом, дико, как недорезанный, он закричал:

— Не хочу, не хочу!

— Да что вы, Федор Иваныч? Вас никто не трогает. Вставайте, приказано выпустить.

— Да что это он: никак болен?

Чёрный с усилием открыл глаза.

Беспрестанно меняя свои очертания, то приближаясь, то отодвигаясь, лезла на него фигура надзирателя «Мартышки». Его голос доносился как бы издалека. Потом маленькое обезьянье лицо стало расти и надуваться до громадных размеров. Глаза, уши, кривой рот вставали перед Чёрным в новых, невероятных масштабах.

Руки «Мартышки» мгновенно размножились, и весь он стал походить на огромного паука. Жилки сетью покрыли «Мартышкину» голову. Два глаза выросли до размеров детского кулачка, потом они зажглись, и Чёрный увидал не глаза, а два фонаря: глаза каторги.

Под слова «Мартышки»:

— В лазарет разве? Тогда зови перевязчика. Доктор не будет раньше 9 часов,—Чёрный опять застонал и забылся.

Когда на другой день Сосновский зашел в околодок повидать Чёрного, он его не узнал—на него глядел худой, испуганный, сразу сдавший человек.

Глаза его провалились и смотрели испытующе, а небритые щеки заросли черной с проседью щетиной.

ГЛАВА VI.

Уныло качались большие тонкие ветви чахлого «листвяка» по бокам пристанской дороги. «Листвяк» по-сибирски значит лес, состоящий преимущественно из лиственницы.

Грязным ватным одеялом нависло сентябрьское небо.

По-временам принимался моросить мелкий противный дождь, сменявшийся крупою.

Белыми зернышками прыгала она по дороге, больно секла лицо и собиралась чистыми кучками в колеях слегка подмерзшей, грязной дороги. Но сильные низовые порывы северного ветра сейчас же выметали ее оттуда и, белыми струйками подбрасывая кверху, несли над землею дымным, клубящимся пологом.

Слегка нагнув голову и спрятав руки в черную муфточку, задумчиво шла Сосновская по пустынной дороге.

Ветер захлестывал юбку вокруг ее ног, трепал длинную косу и поминутно грозил сорвать с головы белую шапочку-гарибальдийку.

Машинально наклоняясь в сторону ветра, она шла, не замечая разыгравшейся непогоды.

Вот уже почти четыре месяца, как она здесь, на Сахалине, а в положении ее еще очень мало прочного.

Правда, в семье Ларовых и Серебрянских она встретила теплое участие и заботы.

У Ларовых ее все звали не иначе, как тетя Оля. Анна Васильевна была ей признательна за ее занятия с детьми; а любовь старшей дочки их, 10-летней Зиночки, прямо трогала ее своим энтузиазмом. С каким вниманием относилась к урокам музыки эта гордая, талантливая и не по годам серьезная девочка! Что любила она больше: музыку или тетю Олю—неизвестно, но, во всяком случае, оба эти чувства делали ее успехи блестящими и одинаково радовали как ученицу, так и учительницу.

Николай Степанович рассказывал ей о Борисе, которого встречал иногда во время своих утренних посещений кандальной; делился своим возмущением по поводу тюремных порядков и злоупотреблений; рассказывал, как родному человеку, о мерах, которые они с заведующим медицинской частью Подгорским принимали, чтобы вывести на свежую воду всю эту гадость; мечтал о возможности путем печати и официальных докладов высшему начальству искоренить зло...

Вечерами частенько собирались у них знакомые: приходил Подгорский, без умолку балагуривший и смешивший всю компанию; забегала Сибирская Роза, ее любимая Стана, обыкновенно уводившая затем ее к себе на ночевку; приезжала из приюта Марья Степановна, вечно возившаяся с каким-нибудь в высшей степени спешным вышиваньем кому-нибудь в подарок.

В этих случаях экспромптом устраивались музыкальные вечера, так как Ларовы не любили картежной игры и обычных провинциальных сплетен.

С каким наслаждением по целым часам играла она своих любимых авторов, или аккомпанировала пению Николая Степановича или Анны Васильевны!

Как истые украинцы, они обладали природным музыкальным чутьем и хорошим слухом.

Недостатки голосовых средств искупались в ее глазах этой чуткостью и красотой передачи.

Как забавно, бывало, Николай Степанович с энтузиазмом раскачивается во время пения, поднимается на носках и, добродушно улыбаясь, делает дополнительные жесты руками, когда голосу не хватает на слишком высоких нотах.

— Тетя Оля! Вы подвинтите там на рояле повыше, вместо меня!—говорит он в таких случаях.

А малороссийские дуэты, скромные, незатейливые думки как недурно у них, бывало, выходили, даже для ее избалованного уха!

Затем Серебрянские.

Это были две семьи на Сахалине, в обществе которых она не чувствовала себя, как на иголках.

Ольга Ивановна была хорошая хозяйка и рукодельница, и она охотно училась у нее всему тому, что ей могло пригодиться по выходе Бориса из тюрьмы.

Этим мелким хозяйственным делам она отдавалась иногда до того яростно, что Ольга Ивановна начинала на нее ворчать.

— Идите-ка,—обратилась она к сидевшему у них Подгорскому, — подите-ка к ним наверх, Леонид Васильевич; тащите к ужину, а то дозваться не могу. Кричу, кричу—ничего не слышат, сидят там и гладят белье.

Леонид Васильевич, в глубине сердца, давно питавший нежные чувства к Сибирской Розе, более чем охотно взбегал наверх, невзирая на одышку и солидный возраст.

Вскоре оживленные разговоры наверху, прерываемые взрывами звонкого смеха девушек и протяжным «гы-гы-гы!» Подгорского заставляли Ольгу Ивановну махнуть на них рукой и отправляться в столовую, вечно переполненную гостями.

Туда не любила в это время спускаться Сосновская. Она стеснялась чуждого ей по духу, разнокалиберного общества грубоватых и склонных к выпивке сахалинских чиновников; не понимала их интереса к перемыванию канцелярских косточек и дикой страсти к азартной картежной игре. Все эти отбросы и отребья русского чиновничества, которые считали себя безнаказанными хозяевами Сахалина, для которых выпороть каторжанина было почти то же, что выпить стакан чаю,—все эти Ипатовы и Губановы были глубоко, подчас до омерзения противны ей.

С товарищами же мужа у нее наладились теплые, хорошие отношения, хотя бывала она у них довольно редко.

Слишком уж велика была разница в годах, а, следовательно, и в интересах повседневной жизни.

Кроме того, все они дома говорили исключительно по польски и всецело поглощены были хозяйством.

Рояля не было решительно ни у кого из них, даже у Плосских. Таким образом, отсутствовала та почва, на которой могло последовать более короткое сближение и на которую она раньше возлагала такие надежды.

Бражникова со Штернбергом она как-то безотчетно побаивалась после первой встречи на «Ярославле»; ей все казалось, что ее отказ поселиться вместе с ними оскорбил этих суровых и требовательных людей.

Впрочем, времени впереди оставалось более чем достаточно. Борис когда-нибудь да будет же выпущен! Они заживут своим домом, и тогда видно будет.

А пока... пока она все еще—залетная гостья; ютится по чужим гнездам и не представляет собою никакой общественной единицы.

Занятия с детьми Серебрянских, Ларовых, Турских,—все это не более, как естественная с ее стороны компенсация за их хлеб-соль, и все это далеко не то, к чему она привыкла и чего ей так страстно хотелось теперь же.

У нее не было сознания полной самостоятельности; сознания, дающего право чувствовать, что если она делает добро кому-нибудь, занимаясь, положим, с его детьми, то именно только ради ощущения этого добра, а не ради уплаты своего долга перед этими людьми.

Правда, ни одного намека не слышала она ни на что подобное, и несомненно, что каждый из них был бы страшно обижен подозрением в намерении спекулировать своим гостеприимством.

Но разве ей-то было от этого легче?

Она-то ведь чувствовала себя «обязанной», лишенной своего угла, чуть ли не приживалкой, и это угнетало ее; шло вразрез со всем ее духовным складом, с центральной идеей всей ее жизни: бескорыстно помогать другим и не быть никому в тягость.

Дробный топот копыт и шуршанье колес разогнали навязчивый рой этих гнетущих мыслей.

Сосновская подняла голову и посторонилась.

Пара горячих вороных коней. Кучер в щегольском синем армяке и павлиньих перьях на шапке. Легкая коляска с откинутым верхом.

Губернатор в обычной своей белой высокой папахе с желтым верхом; длинная седая борода развевается по плечам. Какой у него все-таки нелепый и фельдфебельский вид! Но кто это рядом с ним? Высокий... выше его... бритый с седыми усами, в белой фуражке и накинутой на плечи шинели, под которой виден белый китель, несмотря на сентябрь месяц и холодную, пронизывающую погоду.

Кто бы это мог быть?

Сразу видно, что не из сахалинской челяди, а многими рангами выше. Уж очень много в нем барина и уверенного в себе вельможи.

Где же она его видела?

Ах, да ведь это тот начальник главного тюремного управления, который не советовал ей тогда, в Питере, ехать на Сахалин!

Ну, тогда понятно, почему он чувствует себя здесь таким вельможей.

Вот и он узнал ее и, покровительственно подняв фуражку над головой, поклонился.

Губернатор тоже спохватился и козыряет ей весьма любезно и как-будто растерянно.

Коляска промчалась. Вельможа оборачивается и, улыбаясь, продолжает кивать ей головой.

Вот неожиданная встреча!

Разом нахлынула волна воспоминаний.

Холодная официальная обстановка огромной приемной главного тюремного управления за Александринским театром. Длинный хвост ожидающих очереди. Франтоватые молодые чиновники

с английскими проборами неслышно скользят взад и вперед с деловым видом и с портфелями под мышкой.

Наконец, ее очередь.

С трепетом входит она в кабинет начальника.

Все очень солидно, фундаментально и не назойливо, за исключением портретов царей, которые целой галлереей пятнают стены большого кабинета.

— Садитесь, пожалуйста, чем могу служить?—сказал он и приподнялся от стола, приглашая ее сесть.

Она села и прежде, чем рассказать о своей просьбе, взглянула на него.

Это был осанистый, по своему, красивый и породистый барин,— из тех породистых бар, которым, в сущности, и принадлежала в России вся власть, все угодья и все богатства.

Она овладела собой и, стараясь быть спокойной, изложила свою просьбу.

— И вам не страшно туда поехать?—спросил он, удивленно.

— Нет, не страшно,—ответила она,—не страшно, потому что совершенно необходимо.

— А-а! так это вы?—воскликнул он, когда она, сбиваясь и путаясь, рассказала ему о своем женихе, о своих мытарствах в собственной его величества канцелярии по поводу разрешения на брак с политическим осужденным и о дальнейших своих надеждах на его разрешение ехать на Сахалин за женихом. — Знаю, знаю. Я уже оповещен канцелярией. Брак ваш разрешен... Но дело вот в чем.

И он мягко и внушительно принялся доказывать ей все безумие ее предприятия.

— Вы переоцениваете свои силы и совершенно не знаете мира, в котором собираетесь прожить всю свою жизнь. Подумайте! Всю жизнь! А ведь она только что начинается у вас... Вы понятия не имеете о том, среди каких людей вам придется жить и от кого зависеть будет ваше благополучие. Ведь, имейте в виду, у нас на Сахалин из чиновников идут служить люди подчас...э... скомпрометированные, до некоторой степени... отпетые... Словом, далеко не сливки общества и им дана большая власть... подумайте же еще раз о своем опрометчивом решении. А ведь я больше чем втрое старше вас... видывал виды всякие и совсем не обольщаюсь несбыточными надеждами на человеческую порядочность; вперед знаю, чего можно ждать... А вы? Вы!.. Да ведь вы ребенок, совсем еще ребенок! Ребенок, питающийся иллюзиями, которые сахалинская действительность неизбежно сломает. Да! А что встретите вы? Нравственную грязь, самодурство, мещанское честолюбие... и беспросветное хамство. И с 19 лет до конца ваших дней вариться в этом котле... добровольно! Подумайте! Что вы делаете?

И когда она, гордо подняв голову, ответила, что много думала обо всем этом, и решение ее бесповоротно,—он молча поклонился и сказал на прощанье:

— Идите, дитя мое! все, что будет в моих силах, я сделаю для вас... Я сам буду на Сахалине скоро. Надеюсь, увидимся!

Тогда она не обратила внимания на это обещание, вся охваченная радостью от неожиданного успеха ее долгих и мучительных хлопот, но теперь вспомнила.

Машинально продолжала она идти по дороге к пристани, и картины разбуженных воспоминаний одна за другою вставали в ее памяти.

Вот комната для свидания с заключенными в Бутырском замке в Москве. Там в первый раз увидела она Бориса в безобразной, мешковатой одежде каторжанина.

Как страшно поразил ее слух впервые услышанный ею звон кандалов на его ногах!

Теперь она привыкла; да и он умеет так носить их, что звона почти не слышно. А тогда?!

Мороз пробегает по коже при одном воспоминании о чувстве ужаса, обиды и жалости, которые ледяной рукой до боли сжали ей сердце тогда.

А он? Он весело рассказывал ей о своем житье-бытье в полицейской башне замка вместе с Виктором Вейнштоком, старым ее знакомым.

Он шутил и смеялся, стараясь развеселить ее, но она-то видела... Разве можно обмануть ее?.. Она видела в глубине его глаз тяжелый отблеск залегшей там печали, отблеск перенесенных страданий.

Через четверть часа они уже стояли рядом в тюремной церкви.

Тесной толпой сгрудилось позади них любопытствующее начальство, какие-то надзиратели с женами...

Наскоро отхватывает обряд обручения тюремный священник. Что ей за дело до всего этого?

Утренние лучи зимнего солнца косыми штрихами проникают сквозь церковные окна и яркими бликами дрожат на ее черном шерстяном платье и на грубой, серой куртке Бориса.

Вот священник меняет кольца. Надо три раза. Кольца тонкие, дешевые. Покупала на-ходу в какой-то лавчонке, в воскресенье; все было закрыто.

— Для Бориса кольцо велико... Переменить надо,—мелькает у нее деловая мысль...

А вот Одесса. Последний этап ее испытаний.

Приемная градоначальника.

Какой, однако, жестокий, должно быть, человек—этот Зеленый! Поминутно из кабинета доносятся гневные раскаты его голоса. Просители испуганно ежатся.

Многие выходят из кабинета с заплаканными лицами. Она пришла просить, во-первых, заграничный паспорт, а, во-вторых, разрешения ехать на «Ярославле», т. е. на том пароходе, который оборудован специально для перевозки на Сахалин каторжан.

— Не разрешит, пожалуй!—тоскливо проносится у нее в голове... — Ишь, как кричит!

А, кажется, ничего не забыла: и прошение написано по той форме, какую он любит... и сам правитель канцелярии, Падалка, успокаивал ее и советовал не терять надежды.

Он дал ей адрес писарей, которые на дому изготовляют за небольшую плату разные прошения по форме, излюбленной строптивым градоначальником.

— Сохрани бог не угодить в этом! И читать не станет. Швырнет прошение и просителя выгонит вон!—рассказывал Падалка.

А что это были за писаря!

Даже теперь с чувством невольного страха вспомнился ей большой грязный дом в самой трущобной части города.

Неуютная, закопченная комната. На столе грязная посуда, пивные бутылки, на полу сор и окурки.

Подозрительные и вместе с тем какие-то хищные взгляды хозяев, двух писарей-паспортистов, скорее похожих на трущобных завсегдатаев.

Как уговаривали они ее купить у них фальшивый паспорт!

— Ведь может случиться, что вам не разрешат ехать с этим пароходом и не дадут паспорта... Мы вас доставим тогда на шлюпке в любой момент на борт; паспорт будет у вас такой, что комар носу не подточит, и вы все-таки поедете на-зло всем Зеленым в мире.

Она даже руками замахала на такое предложение и ограничилась прошением, за которое тут же заплатила три рубля. Едва вырвалась она из этой трущобы.

Впоследствии, на пороходе уже, ей рассказывал командир, да и другие офицеры, что подобным образом в Одессе сплошь и рядом запутывают молодых девушек и бесцеремонно продают их потом на турецкие фелюги для константинопольских гаремов.

— Пожалуйте! Ваша очередь,—раздался над нею шопот дежурного чиновника. И вот она в кабинете.

— Кто такая? Что угодно-с?

Сутуловатая, тощая фигура. Болезненное, испитое лицо с седеющей козлиной бородкой. Холодные серые глаза.

— Короче-с! Ваше прошение! — Ага! Ершова... для следования на Сахалин... — вполголоса бормотал он, пробегая прошение. — Фантазии все! — Ну-с! Я знаю о вас все. Имеются ходатайства от лиц... Гм! Да-с! Так вот, я ничего не имею против. Паспорт вам выдадут, и поезжайте на чем угодно и когда угодно. Что-с? На «Ярославле»? Можете! До свиданья. Следующий!

Накануне рейса она была уже на борту парохода и с сердечной радостью узнала в его командире старого отцовского сослуживца.

Какой случай!

Все горести, весь кошмар пережитых мытарств сразу отошли в область прошлого. Легче стало на душе.

Всплакнула она только, когда пароход отвалил от пристани и тоскливо завыла сирена.

Уже длинный, серый, звенящий цепями поток каторжан, идущий сразу по четырем трапам на борт, как стадо скота, чтобы исчезнуть в зияющих черных трюмах, щемящей тоской сжал ей сердце и вызвал на глаза невольные слезы; вид плакавших навзрыд провожатых на пристани; их истерические возгласы; судорожное, последнее махание белыми платочками... А тут еще эта сирена, как страшный вопль чьего-то огромного страдания!..

И, склонившись головой на поручни, она плакала неудержимо конвульсивными слезами.

Кругом суетились люди. Тянули какие-то канаты. Ругались... Косматые волны Черного моря тяжко бились в борта парохода, и холодный мартовский ветер выл, потрясая снастями.

Вот, как теперь, погода была.

Сосновская остановилась, дойдя почти до конца пристани.

Ах, какая красота!

Берег исчез в мутном тумане соленых брызг. Чуть намечаются горделивые контуры Жонкиера. Вполовину его ползет с юго-запада темная, почти черная туча. Странно... ведь, холодный низовой ветер дует прямо с севера!

Тяжелыми серыми массами встают одна за другою огромные волны. Снежно-белыми гривами увенчаны верхушки. Рвет и швыряет их ветер; высоко взметывает к небу, навстречу темной, медлительной туче.

Вот чудовищный вал с ревом ударился в пристань.

Весь конец ее сразу исчез под этим серо-зеленым, змеистым бугром. До самой крыши лизнула волна обледеневшую стену конторы и, с шипеньем и свистом рассыпавшись, водопадом брызжущей пены взметнулась вверх, выше флагштока. Все море и небо на мгновенье скрылись за этой кружевной свистящей стеной.

С тяжким плеском разом рухнул белый каскад обратно на пристань, мгновенно замерзая на ней неровным, точно вспаханным полем.

Перил уже не видно. Одна обледеневшая масса. Висят на ней огромные зубчатые сталактиты. Каждый новый удар волны добавляет их все больше и больше.

Вся покрытая солеными брызгами, с мокрым лицом и развившейся косой стоит Сосновская за углом конторы и не может глаз оторвать от дикой картины.

Ее захватила эта мощь, эта ширь и огромный размах. Силы удесятерились. Морской воздух заряжал бодростью и крепостью. Она подняла голову и совершенно по-детски помахала бушующему морю своей маленькой черной муфточкой.

Начальник главного тюремного управления не стал осматривать тюрем, как только что бывший перед ним инспектор Комарский.

— Ничего, кроме отрицательных результатов, не дает для психики каторжанина безделье или же работа, не приносящая ему осязательных выгод.

Убежденный монархист и слуга своего режима, он одно время у себя в канцеляриях, мечтал возродить Сахалин земледельческим трудом, который молниеносно преобразит проклятое место ссылки в цветущую земледельческую колонию и оздоровит арестантскую психику.

Но из этих канцелярских проектов и груды исписанной бумаги, конечно, ничего не получилось. Ему пришлось жестоко разочароваться в этом впоследствии, когда он об'ездил поселья всех трех округов.

С одной стороны, невозможно было совместить две системы, взаимно друг друга исключающие.

Долгое сиденье по тюрьмам, мыканье по этапам, разным «испытуемым», «исправляющимся», и другие пережитки старой системы до такой степени развращали людей во всех смыслах и поселяли в них такое отвращение к месту этих предварительных истязаний, что ни о каком спокойном, добровольном труде здесь, на месте ссылки, не могло быть и речи.

С другой стороны, климатические условия Сахалина, геологическое его строение и естественные богатства ясно говорили, что сама природа предназначила этот остров для целей промышленного, а никак не сельско-хозяйственного характера.

Уж очень мала была посевная площадь в сравнении с огромным количеством горных хребтов по всему острову, тундр в бассейнах крупных рек и вечной мерзлоты на севере.

Лишь в Корсаковском округе и кое-где в Тымовском вызревали рожь и овес, а в защищенных от ветра долинах даже пшеница, но и то, глубокое промерзание почвы зимой, ранние заморозки осенью и упорные холодные ветры круглый год губили посевы

Целые поселья, при первой возможности покидались жителями на произвол судьбы. Масса кое-как сляпанных напоказ избушек, без всякого признака каких-либо хозяйственных пристроек, неприятно поражала глаз своей никчемностью.

Построишь избушку после окончания срока каторги—сокращается тебе срок поселения до 4 лет, и затем можешь выехать на материк; не построишь—срок поселения остается по закону шестилетний.

Ясно, что большинство строило; и ясно, что не с целью заниматься сельским хозяйством на острове, а с целью поскорее удрать с него. Иные из казенных прожектеров после этого рассуждали:

— Пригодных для земледелия долин мало? Гор много? Ну, что же: мы будем разводить коз; они любят горы; можно даже выписывать алтайских коров. Не прошло земледелие, — займемся скотоводством.

О широкой же разработке естественных богатств острова платным трудом ссыльных, о развитии здесь мощного торгово-промышленного центра как-то не думалось.

Тем более не думалось о полной, исчерпывающей замене тюрьмы и каторги простой высылкой сюда осужденных людей для обычного платного труда, такого же, как и во всяком другом месте.

Если и мелькали иногда подобные мысли, то несбыточность их и, главное, несвоевременность казались более очевидными, чем посвящение Сахалина скотоводству и земледелию наряду с тюрьмой и каторгой.

Но, прежде чем побывать на посельях и убедиться во всем этом, ему волей-неволей пришлось окунуться в поток официальных чиновничьих встреч и чествований, хотя он за долгую службу отлично научился разгадывать всяческие служебные плутни.

Весь первый день ему, что называется, не дали остаться одному и водили, как он подумал, по сахалинским «богоугодным заведениям».

И как неумело в конце концов проявляется все это очковтирательство! Везде сами собою сквозят прорехи!

Он улыбнулся, перестал шагать по кабинету и, бросившись на широкую оттоманку, закурил папироску.

Ему вспомнилась картинка, вполне пригодная для какого-нибудь юмористического журнала.

Показывали работу пожарной команды.

Уже в первый момент он был поражен неожиданным зрелищем. В обширном сарае вдоль стен стояли пожарные бочки, машина с насосом, развешаны были шланги... а посередине стояли рядами стулья, и в глубине помещалась театральная сцена с расписным занавесом, суфлерской будкой и пр.

— Это у нас театр, ваше высоко-пр-во... Кружок любителей организовался небольшой! — подскочил к нему полицеймейстер, он же и бранд-майор, в ответ на его вопросительный взгляд.—Пожары здесь очень редки... сарай-с пустует... Вот мы и соединили приятное, так сказать, с полезным. Хе-хе-хе-е!

— Ну, и что же, серьезные вещи ставите?

— Островского, Гоголя, Крылова Виктора, Александрова... водевильчики разные иногда, для разнообразия. Труппа пока еще

небольшая... Сегодня как раз предполагаем спектакль... Может быть, почтите своим присутствием? Окажете честь, так сказать, благому начинанию, культурно-просветительному, так сказать... Хе-хе-хе-е!

— Придем, придем с Владимиром Дмитриевичем! Ну-с, а пока, в ожидании приятного, демонстрируйте полезное.

Бранд-майор мотнул головой кому-то в дверях.

В то же мгновение на каланче, которая помещалась над зданием вольной команды, через площадь против пожарного сарая, зазвонил тревожный колокол.

Откуда ни возмись, набежали люди в медных касках и серых бушлатах с тузами на спине.

Машина и бочки мигом были выкачены на двор.

Откормленные, танцующие лошади в полной сбруе подведены к ним и запряжены.

Бранд-майор с часами в руках следил за операцией.

— Ровно в 2 минуты! — об'явил он, когда все было готово, и молодцевато вскочил в седло, в то же мгновение давая пронзительный свисток.

Дружно рванули горячие кони и вместе с бранд-майором скрылись в облаках пыли, таща на вожжах по земле своих кучеров, потому что машина и бочки остались на месте; лопнули перегнившие от времени постромки и тяжи.

Оставшиеся не при чем пожарные, однако, не растерялись. Соскочив со своих мест, они подхватили бочки, машину и, с помощью подоспевших добровольцев, помчались вдогонку за убегавшими лошадьми.

Всем стало ясно, что, действительно, пожары здесь были редки.

«Тогда» он принял строгий вид и дал понять, что в пожарных командах не место таким случайностям, которые приходится отнести всецело к нерадению бранд-майора.

Но «теперь» он только покачивал головой, вспоминая забавные подробности общего испуга и недоумения.

— Ну и публика! — думал он, добродушно улыбаясь.—Ведь уж наверное подготовлено было все заранее, чтобы поразить быстротой операции, и все-таки постромок гнилых не досмотрели.

Вечером его повели в тот же злосчастный сарай, но уже смотреть «приятное», как выразился полицеймейстер.

Шла какая-то бытовая пьеска, и любители играли с под'емом и весьма гладко. Видно было, что каждый старательно вызубрил свою роль.

Аптекарь Красильников даже сбрил свою великолепную черную бороду, чтобы правдивее провести роль городового, и с таким пафосом произнес единственную свою реплику: «Зачем же беспокоите полицию?!» точно принц Гамлет, с душевным

надрывом бросающий публике свое знаменитое: «Быть или не быть? вот в чем вопрос!»

Но начальника гораздо больше интересовала публика, и в антрактах он очень усердно ее разглядывал.

Разряженные дамы в собольих горжетках, накидках и палантинах. Мужчины в новеньких вицмундирах. Ничего особенного, Видно только, что или соболя здесь очень дешевы, или чиновники очень богаты: последнее, конечно, вернее. Но вот в пятом или шестом ряду мелькнуло знакомое бледное, полудетское личико, гораздо интеллигентнее всех других.

Приятный контраст рядом с возбужденно-самодовольными лицами сахалинского начальства.

Ершова! Впрочем, теперь уже Сосновская, как об'яснил губернатор на его расспросы еще там, в коляске, по дороге от пристани.

Вот народец! .Разрешение вступить в брак по приезде на Сахалин поняли, как приказание, и свертели все это как попало, как в насмешку над этой маленькой женщиной.

Наскоро закончив беседу с губернатором, он извинился и, пробираясь между рядами, подошел к ней.

— Очень, очень рад снова вас видеть, милое дитя мое! — начал он, поцеловав ее руку и присаживаясь на свободный стул рядом. Мне бы хотелось о многом побеседовать с вами. Надеюсь, что не откажетесь навестить старика?

— Отчего же? Конечно!—с живостью отвечала Сосновская.— Вы так много сделали для меня.

Пробил звонок к поднятию занавеса.

— Так я извещу вас, вероятно, завтра-же. Мне хотелось бы поговорить с вами до от'езда на поселья. Оттуда я, вероятно, проеду прямо в Корсаковский пост, и мы больше не увидимся... Ведь вы еще так юны, а я... — он махнул рукой и засмеялся.

— Вернувшись в Петербург, вы уже, конечно, меня не застанете не только там, но и, вообще, на этой планете.

Сосновская сразу сделалась центром общего внимания и только то обстоятельство, что антракт этот был последним, спасло ее от настоящей осады горящих любопытством и нетерпением дам. Чувствуя это, она воспользовалась каким-то сильно драматическим моментом в пьесе и незаметно выбралась из зала в сопровождении своей неразлучной Станы.

На другой день ровно в час она уже подходила к дворцу. С утра ее известили, что его высокопр-во просит ее пожаловать к этому времени в приемную губернатора.

Начальник довольно запросто встретил ее:

— Ну, садитесь и расскажите все с самого начала: чем вас встретила новая жизнь и новые люди? Как вы устроились?... Говорите все; не бойтесь, я не сочту этого за жалобы. Все это

останется между нами. Мне просто надо знать все, чтобы сообразить, чем и как помочь вам устроить здесь для себя хотя бы сносную жизнь.

Доверчиво и просто стала она рассказывать.

Покачивая головой, слушал он это повествование.

— Дикие люди, жестокие первобытные какие-то нравы! Играют пьесы Островского, а сами... разве не персонажи Островского? Пройти мимо такого человека, как вы, даже оттолкнуть!.. Из приюта выгнали... «не гостиница для приезжающих»... Это вас-то? Как предупреждал я вас еще в Петербурге! Все сбылось, ведь. Трудно вам будет завоевать этих людей. Чем бы вы, например, хотели здесь заняться, чтобы это вас так или иначе устраивало?

— Да видите-ли, г. начальник, здесь есть школа для детей ссыльных. Там их 120 человек и учитель профессионал, по фамилии Звездин, тоже из ссыльных. Его заставили быть учителем в этой школе насильно, угрожая иначе посылать на тяжелые работы; а он чувствует себя совсем нервно-больным и не хочет заниматься больше учительским трудом. Он, действительно, более чем странный человек, почти совсем ненормальный. Вот если бы можно было его освободить от школы, а меня назначить туда учительницей!

И она робко взглянула на него из-под длинных ресниц.

— Это не очень трудно устроить?

— Конечно! Что же тут трудного? Самое простое и справедливое дело. Но только будет ли вам по силам возня с такой оравой? Одна учительница на 120 человек детей! Но ведь это кошмар! Не боитесь? Нет? Ну хорошо, хорошо. Завтра я еду с губернатором вместе в Корсаковский пост и оттуда начну свой обзор поселий. По дороге у нас будет много свободного времени, и я основательно поговорю с ним о вас... О муже вашем лучше говорить не буду... Я его лично никогда не видел и не знаю. Охотно верю вам, что он вполне достойный молодой человек!—торопливо добавил он, заметив ее протестующий жест.—Но я просто не считаю себя вправе показывать дурной пример своим же подчиненным, нарушая из личных симпатий законы, которые они и я призваны охранять.

— Я никогда не решилась бы просить... Да и он сам отказался бы от этого! — быстро сказала Сосновская, гордо поднимая голову.

— Ну, вот видите! Значит, я не ошибся в своем доверии к вашей оценке. Итак, потерпите еще немного, и вы скоро заживете вместе,—закончил он, ласково похлопывая ее по руке.—Тогда, надеюсь, все горести ваши должны будут кончиться. До свиданья же, вернее, прощайте.

Через три недели Сосновская получила официальное назначение и сейчас же пошла в школу.

Это было средних размеров очень ветхое здание обычного сибирского типа, с мезонином.

Внизу большой облезлый зал с прогнившими полами, три класса, похожие более на гробы, чем на комнаты, и каморка, где жил старик сторож с женою; комнату в мезонине занимало младшее отделение.

— Наконец-то! — встретил ее Звездин, средних лет плотный, сильно изнервничавшийся человек угрюмого и меланхоличного вида. — Я уже стал терять всякую надежду на избавление.

— Ах!—он схватился за виски и болезненно сморщился.— Вы себе представить не можете, что это за дикая орда! Пятнадцать лет я учительствую; перебывал во многих школах России... но такой орды еще не видывал.

«Орда» в это время окружила их плотным кольцом и с жадностью маленьких дикарей разглядывала новую учительницу.

— Коса-то какая! Длинная! — громко шептались девочки.

— А волосы мягкие, мягкие... я потрогала: добрая, значит! пояснял кто-то.

— Ай!—взвизгнул пронзительный голос.—Затем ты щипа ешься?!

— А ты зачем на меня напираешь?

— Тише вы, мокрохвостые! Вот как дам блямбу, сразу красным соусом зальешься! — пригрозил чей-то хриплый басок.

— Что, что? Посмей только...

— Р-раз! Еще хочешь?

Поднялся визг и плач.

Звездин с отчаянием махнул рукой и бросился к месту скандала.

— Ай-ай-ай! — разом завопили в середине толпы.

Высокий, разбойничьего вида, здоровенный мальчуган под шумок связал косами вместе несколько девочек и сам прыгнул в середину. Те, разумеется, стукнулись затылками, и вся компания повалилась на пол с неистовым ревом и руганью.

— Кадрич! Кадрич!—взывал Звездин.—Как тебе не стыдно! Сейчас же вон, негодник этакой!

— Сам негодник! Покажись-ка на Рельсовую, — живой не уйдешь! А на школу твою — тьфу! Чай-то с хлебом мы и дома пьем.

Кадрич засунул руки в карманы и, толкаясь плечами в толпу то направо, то налево, с громким свистом направился к дверям.

Остолбенелыми глазами смотрела на все это Сосновская.

— Видели? Слышали? — обратился к ней Звездин.

Целый месяц билась она, приводя школу, если не в порядок, то хотя в сколько нибудь сносный вид.

Звездин стал совсем заговариваться и, наконец, был замещен церковным регентом, Коржевским, тоже из ссыльных.

Ему Сосновская отдала младшее отделение, взяв на себя старших детей.

Но и с этими пришлось все начинать сначала.

Большинство из них едва умело читать, об арифметике имело самые смутные представления, а о географии или истории даже не слыхивало.

— Да чем же вы занимались? — в отчаянии восклицала Сосновская. — Неужели целый день дрались и баловались?

— Зачем целый день? Нет! Мы ждали, пока закипит куб и нарежут хлеба. Затем пили чай с сахаром и уходили домой.

Придут, дьяволы, в 6 часов утра,—вмешивался сторож, я—скорее куб греть и за хлебом жену гоню. К 8 часам управимся и—в шею! А чтоб не шибко баловались, возьму палку и читать книжку заставляю всех сразу, значит, в голос; дружно чтобы, по команде. Сидят и читают. Как кто забалует—палкой его! Ничего, выходило.

— А учитель?

— Да чего учитель? Он дурашный какой-то был; не то пьяный, не то не в себе... Котелок у него расклепался! — под общий смех отпускал кто-нибудь тюремное словечко.

Ах, уж эти «словечки»! Половины из них Сосновская не понимала и никак не могла ориентироваться, когда ей следовало очень рассердиться и пристыдить детей, а когда не очень.

— О-ольга Михална! — кричит кто-нибудь из этих головорезов. — Он меня матюгом поливает!

— Что, что такое?—с оттенком беспокойства недоумевает учительница.—Чем он тебя поливает? Покажись сюда! Где пятно?.

— Да нет пятна никакого! Он ругается просто, матерится значит...

— Как не стыдно вам, дети? Мне просто остается уйти из школы, если вы будете еще мате... мате-рикаться! Я так и сделаю.

Она встает. Губы ее дрожат, и на глазах блестят слезы.

Плутоватые улыбки детей, только что потешавшихся такой житейской неопытностью учительницы, сменяются выражением испуга.

— Вот пришлют вместо меня какого-нибудь надзирателя. Он уже не будет вам читать про разные страны и по вечерам на небе звезды показывать, а будет колотить и ругаться так же, как и вы ругаетесь. Неужели вы этого добиваетесь? Так скажите прямо — и я уйду сейчас же!

Ребята тесным кольцом обступают ее, девочки лезут с поцелуями. Порядок понемногу водворяется, и занятия, освеженные драматическим инцидентом, продолжаются с усиленным рвением.

— Хотите, душечка Ольга Михайловна, — конфиденциально предлагают девочки постарше, — мы об'ясним вам все «дурные» слова? Как кто обругается, вы сейчас же поймете и сейчас же прогоняйте из школы.

Она отклонила эту любезность, хотя знания на этот счет у детей всех возрастов были прямо изумительные.

Зато школьное преподавание шло сначала туго.

Все книги в школе полагались казенные, но брать их на дом детям не разрешалось.

— Разорвут, испортят, а то еще на цыгарки выкурят, или продадут. Ведь это же дети ссыльных! — недоуменно возражали ей на все хлопоты об отмене этого правила.

— Ну, тогда закрывайте школу совсем. Заниматься по нашей программе при этих условиях немыслимо.

Наконец, ей удалось убедить Турского вступиться в это дело, и детям разрешили брать учебники на дом.

Она не налегала слишком рьяно на обязательное выполнение программы курса.

Ей хотелось сначала привязать детей к себе и добиться того, чтобы они полюбили школу; связать их приятными воспоминаниями с ней, вот с этими облезлыми, дряхлыми стенами старенькой школы. И дети шли к ней, отзываясь на небывалые до сих пор начинания; и все больше и больше привязывались к своей маленькой, терпеливой учительнице.

В морозные октябрьские вечера, когда ветер стихал к ночи и звезды брильянтовой вышивкой покрывали темное, почти черное небо, частенько можно было видеть ее на площади возле школы, среди толпы притихших ребятишек.

— Вот созвездие Большой Медведицы — видите, ковшичком? — говорила она своим низким грудным голосом. — А вот это, поменьше — Малая Медведица. Теперь проведите линию глазами между двумя звездами в передней стенке большого ковшика и продолжите ее кверху. Она упрется прямо во вторую звезду в хвосте Малой Медведицы; это — Полярная звезда. У нас на земле она показывает север. В нее упирается ось мира.

— Как мира? Разве у мира есть ось?

— Ну, конечно; такая же мысленная линия, как и та, вокруг которой вращается земля. Но только вокруг оси мира вращается вся видимая вселенная, со всеми этими мириадами звезд. А вот большой четырехугольник. Это созвездие Большого Пса; Та кучка звезд называется Плеяды. А там Геркулес. Туда уже много миллионов лет мчится наше солнце со всеми планетами, и с нашей землей тоже.

Дети слушают, как зачарованные, и осыпают Сосновскую бесчисленными вопросами.

Импровизированная лекция заканчивается лишь, когда у всех зубы начнут стучать от холода и на колокольне сторож мерно пробьет в колокол девять, а то и десять ударов.

Жалованье ей платили 25 р. в месяц, причем предупредили что за летние вакации с 1 июня по 1 сентября платы не полагается.

Но это ее мало интересовало. Заниматься с детьми она все равно будет и летом. Нельзя допустить, чтобы они отвыкали от нее и от школы за это время. Это самое главное.

А потребности у нее настолько скромные, что тут и разговаривать нечего. Важно то, что в руках у нее несомненно полезное, хорошее общественное дело, а сама она независима от чужой доброты и благотворительности, самостоятельная общественная единица.

— Летом ведь можно заниматься бесплатно?

— Можно, конечно, если хотите... — отвечали ей, пожимая плечами.

Что ей за дело было до этих пожиманий и странных, недоумевающих взглядов.

Гордая радость наполняла ее, и силы кипели.

Через месяц школьные дела у нее стали совсем налаживаться. Самые великовозрастные ученики, лет по 17—18, на две головы выше ее и с пробивающимися усами, понемногу сами ушли из школы; одни по ее протекции перед начальником тюрьмы поступили подмастерьями в мастерские, другие уехали на рыбалки в Николаевск, а один даже завел собственную нарту собак и сделался каюром, т. е. ямщиком, перевозящим на собаках почту, пассажиров и грузы зимою на материк с острова.

Новая помощница, назначенная к Сосновской вместо церковного регента, точно по мерке пришлась ко всем ее начинаниям.

Еще моложе Сосновской, по крайней мере на 3 года, Ольга Григорьевна Кораллова только-что кончила гимназию в Гродно и приехала на Сахалин вместе с родителями, двумя братьями и старшей сестрой.

Отец, пожилой, болезненный чиновник, не имея наследственных капиталов и боясь умереть раньше выслуги полной пенсии, согласился взять приличное канцелярское место на Сахалине. Жена, два сына, две дочери... А тут — огромные прогоны, подъемные, полуторный оклад, амурская добавочная пенсия, солидные деньги на воспитание детей, обратные прогоны через 3 года — ведь, при скромной жизни, тысячи могут оставаться!

Да и сестра жены здесь замужем за почтмейстером.

Все же точка опоры в чужом краю.

Так попала на Сахалин новая помощница Сосновской.

Маленькая блондиночка, с невинными светло-голубыми глазками, всегда скромно одетая и гладко причесанная, Ольга Григорьевна обладала неистощимым терпением, душевной теплотой и огромной силой характера.

Для Сосновской это был прямо клад, а дети скоро души не чаяли в них обеих.

Работать стало гораздо легче, но зато—как адски холодно было в старом, покосившемся здании!

Весь ноябрь месяц крутил и ревел свирепый сахалинский буран.

Вот-вот стихает... вот, кажется, совсем перестал, и только низко осевшие светло-серые тучи со страшной быстротой несутся над самыми крышами.

Вооруженные лопатами, жители выползают из своих полузанесенных избушек, но—сразу в тысяче местах прорвалось пухлое, точно ватное, небо, низвергая целый океан крутящихся хлопьев.

Как с цепи сорвавшийся ветер подхватил, завертел и с визгом и воем понес сыпучие белые горы.

Несколько раз пыталась Сосновская пробраться в свою любимую школу.

Иногда ей это удавалось в светлые промежутки погоды, и она заставала в школе 10—15 ребятишек постарше, из тех, кто жил по соседству.

В обледеневшей одежде, не раздеваясь, сидели они в нетопленных классах и, на удивление сторожу, с увлечением занимались чтением, географией, историей.

Чернила стояли замерзшей массой, и покрытая инеем школьная доска не воспринимала мела, да и самый мел обжигал руки ледяным холодом.

Но иногда все усилия Сосновской выбраться за пределы двора оставались тщетными.

Увязая по грудь в сыпучем снегу, она со смехом храбро барахталась по сугробам, защищая лицо муфточкой от водопадов колючего снега. Но за воротами начинался ничем не застроенный пустырь на задворках канцелярии губернатора. Тут ветер гулял на просторе, наметая снежные массы к задней стене канцелярии в уровень с крышей.

Обнаженный, обледенелый пустырь не давал опоры ногам, и редкие прохожие катались по нему кубарем.

Та же участь постигала Сосновскую и, после тщетной борьбы со стихиями, измокшая, растрепанная, вся в снегу, со ссадинами на руках и коленях, вваливалась она обратно к Серебрянским прямо на жестокую проборку к Ольге Ивановне. Сибирская Роза подхватывала шатающуюся от усталости, раскрасневшуюся от непосильной борьбы подругу, и обе с хохотом убегали в светелку переодеваться.

Ольга Григорьевна жила по соседству, через двор, и потому все три подруги встречались почти ежедневно. Но на такие отчаянные подвиги она никак не могла решиться и с непритворным ужасом и огорчением взирала на проделки Сосновской.

— Как ты можешь, Оленька, так рисковать здоровьем? Послушай, как ревет ветер, даже дом трясется!

— Да что трясется! — возражала та.—Вчера я все-таки пробралась в школу и наблюдала там, как во время особенно сильного напора бури двери принимали форму ромба, довольно заметного!

Робкая подруга только всплескивала руками, а видавшая виды Сибирская Роза хохотала, как безумная.

Наконец, небо высыпало все свои запасы.

Ветер поднялся куда-то ввысь и унес с собою последние остатки облаков.

Под голубым шатром ослепительной белизной заискрилась снежная пелена на солнце.

До самых труб занесенные избушки понемногу вылезали на свет божий.

На такие случаи двери у всех отворяются всегда внутрь, иначе так завалит снегом, что и не вылезешь без посторонней помощи. А тут откроешь дверь, а перед тобою снежная стена, как будто вторая дверь. Берешь лопату и начинаешь прокапывать и буравить эту стену наискось вверх, пока вылезешь под открытое, морозное небо.

Теперь надо углубляться вправо и влево, вдоль передней стены избушки.

Таким образом, при дружной, совместной работе соседей пост Александровский покрывается трех-четырехаршинными ходами сообщения. Проезжая дорога идет почти на уровне крыши, кое где понижаясь настолько, чтобы без особого риска можно было бы перейти с одной стороны улицы на другую.

Понемногу снег оседает, но на $1^1/_2$—2 аршина он лежит до самой весны, до первых оттепелей.

Кончился буран, зато мороз крепчает.

Теперь уже за 20°, и в школе разве-что только вдвое меньше. Обвалившиеся дымоходы в печах не держат тепла; получается то, что печники зовут «соловьем»; весь жар из печки, лишенной круговой циркуляции, прямо уносится в трубу; или же, что еще хуже «соловья», валит вместе с дымом обратно в комнату.

Соскучившиеся ребятишки веселым роем наполнили школу, радостно окружая своих учительниц.

— Ольга Михайловна! Как будем заниматься? Чернила замерзли; все равно, что черное стекло! ножем едва пробиваешь!

— Ольга Григорьевна! доска склизкая, мел не берет!

— Не «склизкая», а «скользкая». Переставим доску к самой печке; согреется, тогда мел возьмет.

— Да мел сам склиз... скользкий! Царапает только.

— Ничего, и мел отогреем. Положите его на отдушник.

Кое-как устроились, и начинаются занятия.

Снег, набившийся в углах, выметен; но по всей стене, в пазах темных, старых бревен видна чистая, белая бахрома его, и свешиваются солидные сосульки.

На подоконниках ледяная кора толщиною в два пальца пригорком вздымается к стеклам и, постепенно утончаясь, покрывает

их более, чем наполовину; выше идут роскошные ледяные узоры каких-то небывалых цветов и арабесок.

Стужа в классе стоит леденящая.

Дети сидят в полушубках, ватных куцавейках и разном сборном тряпье; на головах шапки, платки и всякая рвань, у кого что есть; на ногах — у кого чуни, у кого здоровенные валенки. Лица у всех посинели, и пальцы скрючило.

Учительницам тоже не лучше.

Вбегает сторож.

— Губернатор под'ехал!

— Вот это очень хорошо! — улыбается Сосновская.—Пусть посмотрит. Дети, сидите, не бегайте к окнам и не снимайте шапок.

Входит губернатор.

— Здравствуйте, дети!

Школьники встают.

— Здравствуйте, Ольга Михайловна! Не беспокойтесь. Я сяду вот на этой парте. Ну, как идут занятия? Справляетесь? Это ведь старшая группа?

— Да, вот судите сами, Владимир Дмитриевич. Желаете послушать?

— Пожалуйста, очень рад. Но отчего все они так закутаны? И в шапках? в платках? Разве уж так холодно? Есть у вас градусник?

— У нас не только градусника, а и стен почти нет. Да вот, сами увидите, Владимир Дмитриевич. Разрешите продолжать урок?

— Гм! Гм! Пожалуйста! Продолжайте! Прошу.

Несколько озадаченный таким вступлением губернатор спустил с плеч бобровую шинель и, положив перед собою папаху на парту, приготовился слушать.

Сосновская продолжает прерванный урок географии.

Рассказывая про северные страны и по временам задавая вопросы детям, она описала Канаду, Аляску, упомянула о Клондайке, перебралась в Гренландию, затем на Шпицберген и, постепенно приближаясь к полюсу, сообщила, что вот уже два года, как смелый полярный путешественник, норвежец Фритьоф Нансен, отправился на пароходе «Фрам» к полюсу, и до сих пор ни о нем, ни о его товарищах нет никаких известий.

— Положим, — говорила она, — «Фрам» защищен от холода очень хорошо, гораздо лучше, чем, например, наша школа; там, конечно, даже самый сильный ветер не наносит снега в комнату; стена не промерзает насквозь, и печи отапливают каюты, в которых стоят, а не морозное небо.

Прошло минут двадцать.

Губернатор ежился все больше и больше, водя глазами по стенам, покрытым инеем, по ледяным сосулькам в углах, и с завистью поглядывал на огромные валенки соседа, торчащие из-под парты.

Нос у него посинел, и лысина стала багровая.

Наконец, он не выдержал.

Рассказы о полюсе, казалось, еще больше залединили комнату.

— Да! Здесь, действительно, холодно! Очень холодно!—заявил он, поднимаясь и с наслаждением закутываясь в меховую шинель, под которую сейчас же запрятал скорченные, посиневшие пальцы.— Здесь ужасный холод! Как вы можете заниматься в такой температуре?

— Вот, как видите, занимаемся, Владимир Дмитриевич. Вы вот полчаса не могли досидеть до конца урока, а мы ведь каждый день так, всю зиму, с девяти до трех сидим... А в верхнем классе еще холоднее... а там ведь совсем маленькие дети. Желаете посмотреть, как там идут занятия?

— Нет, нет! — испугался генерал. — Не будем мешать. Позвольте поблагодарить вас. Я очень, очень доволен всем, что здесь видел... т. е. слышал... т. е. вашей постановкой школьного дела... Да!... Благодарю, благодарю... К будущей зиме закончим первый опыт кирпично-саманной постройки... Видели—против церкви, рядом с почтой, заложен кирпичный дом? Вот туда переведем вашу школу. Там будет тепло... и в самом центре поста. До свиданья! Печи прикажу завтра же пересмотреть и привести в исправность... Еще раз благодарю!

Генерал горячо пожал руку Сосновской и поспешно двинулся к выходу на вольный солнечный воздух из этого насквозь промороженного склепа, как он мысленно обозвал школу.

ГЛАВА VII.

Морозный, алмазной пылью сверкающий день. Тихо, торжественно тихо в тайге, покрытой пушистым белым нарядом.

Величаво стоят стройные ели в этом царственно-красивом уборе. Неуловимые искры горят и переливаются на снежных сугробах. На каждом пеньке подушка, белая, вся осыпанная бриллиантами. Нижние ветви деревьев изящным изгибом опустились под тяжестью снега. Эти белые шатры наполнены голубыми тенями.

Вот сказочным гротом нависли корни упавшего дерева. Девственно чистая бахрома обрамляет вход зубчатым полукругом; ледяные сосульки загородили его сияющей хрустальной решеткой.

Огромная снежная шапка от собственной тяжести тихо сползла с ветки и с мягким звуком упала в пушистый сугроб.

Это было знаком к целой революции.

Освобожденная ветка взмахнула, уронила с соседки такую-же белую массу, и мгновенно ожившая елка окуталась снежным, блистающим облаком.

Радостно кивали друг другу упругие ветви; уступами прыгала вниз пушистая лавина; искристой радугой сверкала на солнце тончайшая снежная пыль.

Спугнутый этим обвалом заяц откуда-то вынырнул и белым клубком покатил по сугробам, заложив на спину длинные уши с черными кончиками.

Чье то пушистое, гибкое тело мелькнуло в воздухе.

Маленький, но хищный и смелый соболь птицей слетел с развесистой ели, направляя свой прыжок прямо на шею ничего не ожидавшей добычи.

Косой прянул ушами и наддал ходу, круто петляя между деревьями; но и соболь быстро оправился, прыгнул и—началась гонка.

Гибкое, легкое тело быстрыми, частыми взмахами мелькает по снежной позерхности. Еще два-три прыжка и—плохо придется косому. Темной стрелкой взовьется над ним страшный противник и острые зубы с хрустом вопьются в его дрожащее тело.

Бедняга напрягает последние силы и... странные звуки разом прервали эту таежную драму.

Соболь быстро исчез в вершине ближайшего кедра, а заяц присел на задние лапки и сторожко уставил длинные уши.

Какое-то переливчатое звяканье слышится за стеной густых елок, сплошь заваленных снегом.

Что это?

Еще несколько робких прыжков, и перед ним множество ружей, сверкающих на солнце примкнутыми штыками.

Невольно сделал он быстрый вольт, готовясь юркнуть под защиту родной таежной глуши при первом тревожном признаке.

На людях одеты серые шинели с башлыками; на ногах огромные, неуклюжие бродни; из за голенищ торчит клочьями сено; веревочка стягивает их над самой ступней; носки непроизвольно загибаются вверх, а необъятная подошва оставляет след, поставивший бы втупик любого палеонтолога.

Держа на плечах берданки, эти люди частью стоят по колено в снегу, частью сидят на бревнах, длинной вереницей растянувшихся по дороге, узкой, изрытой ухабами.

Около этих бревен, по три у каждого, сгруппировались другие люди, без ружей, зато с какими-то звенящими переливчатым звоном украшениями на ногах.

На этих людях надеты серые бушлаты с черными тузами на спине, или короткие желтые полушубки.

На ногах у всех почти самодельные «чуни» — высокие сапоги из толстого арестантского сукна вдвойне, густо простроченные вдоль всей поверхности, на толстых суконных же подошвах.

В этих «чунях» ноге легко, тепло и не скользко.

Слышны отрывистые разговоры и тяжелое дыханье запыхавшихся людей.

Что они делают?

Одни — волокут на себе бревна из тайги в пост Александровский; это — каторжане. Другие следят, чтобы они не разбежались; это—конвойные солдаты.

Длинный ряд девятиаршинных бревен, прямых и ровных, как свечи, в шесть вершков толщиною каждое, протянулся вдоль по дороге.

В отдалении, полускрытый выступающими лапами елей, виднеется почти разобранный штабель таких же бревен.

— Заяц! — крикнул вдруг кто-то, увидев длинноухую голову, торчащую из-под густого ельника.

Трахнул выстрел, пущенный сгоряча ближайшим конвойным, и косой в перепуге пустился чесать по снежной поляне, сопровождаемый бешеным улюлюканьем каторжан и безвредными салютами конвойных.

Наконец, он скрылся, из виду, и все успокоились.

Отдохнувшая партия взялась за веревки. У каждого бревна встали три человека. Один впереди, у «головки» бревна и двое с боков, уцепив свои тяжи за железные кольца, вбитые в «комель».

Приладив получше широкие середины лямок на плечах, они всем телом нагнулись вперед, изо всех сил упираясь ногами. Бревна сначала с трудом, медленно тронулись, скрипя по снежной дороге, а затем, разойдясь, легко заскользили по укатанной колее, ныряя на широких ухабах.

Сзади каждой группы с ружьем на плече шел конвойный солдат.

Кандалы залились мелким, рассыпчатым звоном в ясном, морозном воздухе.

Белый пар заклубился над поникшими головами напряженных серых фигур, и штыки веселыми искрами засветились на солнышке.

Сначала шли молча.

Но вот, поднявшись на небольшой взлобок, партия встала у маленькой, занесенной снегом землянки.

Здесь жили сторожа, обязанные караулить казенные бревна. У этого зимовья партия всегда останавливалась полить бревна, чтобы ходчее скользили по дороге.

Началась перебранка и поминутная беготня в зимовье и обратно с кружками и ковшами воды.

Один из сторожей, молодой, расторопный парень, в грязной рубахе и, несмотря на мороз, в котах на босу ногу, принял самое живое участие в общих заботах.

Попрыгивая с ноги на ногу, он то зубоскалил с конвоем, то помогал перевертывать какое-нибудь непокорное бревно, то, при

общем хохоте, давал неудобные для печати советы насчет способа поливки.

Второй сторож, угрюмый старик хохлацкого типа, в огромном тулупе, сшитом из двух арестантских шуб, возился в стороне с починкой старых, обтрепанных лыж. Он изредка что-то ворчал себе под нос, окидывая сердитым взглядом шумящую кобылку.

У него вчера «поперли» из хаты бутылку со «шпиртом», и сильное подозрение падало на бревнотасков.

— От-то бисова шпанка, яку шкоду зробыла!

Некоторые из каторжан забрались в землянку и сидели там подозрительно долго, а появлялись, чему-то улыбаясь слегка посоловелыми глазами, и на ходу вытирали усы рукавами халатов.

Другие толпились у входа, растобарывая со сторожами и упорно отругиваясь от надзирательских окриков.

Бедный блюститель порядка бегал от бревна к бревну и осипшим, озлобленным голосом «гавкал», т. е. понукал своих непокорных питомцев.

Наконец, обледеневшие от поливки водою бревна, белые и сверкающие, вытянулись длинной вереницей в прежнем порядке.

Люди разместились, подхватывая веревки. Солдаты поспешно замесили снег своими огромными броднями, торопясь на места.

Опять наклонились головы, напружились жилы на шее, выгнулись спины, и весь поезд, сначала медленно, а потом быстро и ходко замелькал по извилинам узкой дороги. Ушедший вперед надзиратель по счету пропустил мимо себя всю команду и, облегченно вздохнув, пошел сзади партии рядом с суровым на вид унтером, начальником конвоя.

— Ишь, проклятущая кобылка, что делает! — вскрикнул он, указывая на длинный поезд бревен, бешено мчавшийся под гору.

Заливаясь здоровым, раскатистым хохотом, отчаянно лязгая кандалами, неслись серые фигуры по крутому снежному склону, ловко перепрыгивая на поворотах с одной стороны бревна на другую.

Как живые существа, извивались бревна, ныряя на ухабах и высоко взметываясь потом заостренными головками. Молодецкое гиканье, хохот, звон цепей и визг бревен по укатанной снежной дороге, клубы белой, сверкающей пыли под ногами, — все это лихо вилось и гремело в ясном морозном воздухе, опьяняющей волной разливалось по жилам, искусственно бодрило уставшие, задерганные нервы. Наиболее бесшабашные головы садились верхом на бревно и, предавшись на волю судьбы и искусства товарищей, сломя голову мчались в этой лавине.

Конвойные, увлеченные общим весельем, бежали во весь дух рядом с бревнами, скользили в своих неуклюжих броднях и, нелепо размахнувши ружьем, торчмя головой падали в рыхлый снег, спасаясь от опасных соседей.

Все круче и круче дорога; быстрее и быстрее несется сумасшедшая вереница.

Крутой поворот, за ним мост через глубокий овраг, чуть не до верху наполненный снегом.

Вот белый столб снежной пыли взвивается, точно взрыв; мелькает бревно, со всего маха выскочив из колеи; за ним летит распростертая серая фигура, не успевшая бросить веревки; все это описывает в воздухе длинную параболу и, при общем крике — ур-ра! — скрывается в овраге, среди клубящейся снежной тучи.

Веселье достигает своего апогея. Надзиратель ругается.

Теперь одно бревно пропало.

Никакие силы не извлекут его из под моста, где на две сажени насыпано снега и, предвидя нахлобучку свыше, надзиратель, среди общего гвалта и смеха, напускается с бранью на белую фигуру, сконфуженно вылезающую на четвереньках из глубокого оврага.

Сильно проголодавшийся и возбужденный быстрым движением на морозном воздухе вернулся Сосновский в свою камеру. Хаджи и Алла-Верды бежали из кандальной вскоре после неудачной попытки восстания таким же непонятным для начальства образом, как и Тиманов с компанией. Теперь соседом Сосновского был Прокурор. Они давно уже работали вместе в починочной по ночам на четверг и воскресенье, имея зато эти два дня свободными от всяких работ.

В остальные дни старались попадать в дальнюю партию.

Вспоминая забавные эпизоды похода за бревнами, они теперь с завидным аппетитом уписывали свой немудреный обед, поставив между собою на нары маленький столик с деревянной лоханкой, или, по местному названию, «бачком».

Разварившаяся до последней степени кета и нечищенная картошка придавали баланде — этому специально-арестантскому блюду — грязно-серый цвет и подозрительную густоту массы со множеством взвешенных в ней крошек, скользких, обломанных позвонков рыбьего хребта и картофельной шелухи. До дна бачков не ели никогда, так как на зубах начинал в этом случае хрустеть песок, и на самом дне обнаруживался черный, вонючий слой осевшей грязи.

Острый, удушливый пар облачком вился над каждой группой обедающих, золотясь в косых лучах зимнего солнца.

Квадратное окно с мелким переплетом и заржавленной решеткой заливало камеру потоком весеннего яркого света. Почти все в камере оставалось по старому, как и в первый день прихода Сосновского.

Так же аккуратно скатанные «собственные» подстилки толстыми трубками разместились на нарах вдоль самой стены.

Так же фантастическими иероглифами пестрела над ними на грязной известке кровавая летопись исконной войны арестанта с одним из его кровопийц, голодным тюремным клопом. Над иероглифами попрежнему протянулись длинные, во всю стену полки, с наваленчым на них скарбом.

Еще выше — царство пыли и паутины.

Она грязными клочьями висела оттуда, затягивая углы и перекидываясь тонкими нитями к потолку.

Как и всегда, гирлянды мокрых портянок и суконных штанов дополняли украшения камеры, внося острый букет прели и пота в общую замысловатую комбинацию тюремных ароматов. Все было попрежнему.

Только на одной из стен, как раз над ложем Яшки Дергача поместилась целая выставка стеклянных картин — чудо искусства этого тюремного художника и фальшивомонетчика. Обыкновенное оконное стекло замазывалось с одной стороны смесью сажи с лаком. На подсохшей поверхности, при помощи острой булавки и ножичка, выцарапывал он тонкими, аккуратными штрихами самые декадентские свои измышления: небывалые цветы, голых женщин; чудовищные формы этих последних и волосок к волоску подобранные прически свидетельствовали тонкостью своей отделки об усидчивости, возможной только в тюрьме. Была тут, между прочим, и карта о. Сахалина, окруженная вычурным бордюром цветов и арабесок. Вся штриховка заклеивалась с'исподу золотой или серебряной бумагой.

Картины эти рядами висели над изголовьем художника, возбуждая зависть других камер и находя среди них не мало покупателей.

Итак, почти все было по старому: и грязь, и вонь, и лохмотья, и непечатная ругань.

Но весело дрожали на грязном, заплеванном полу светлые вытянутые блики солнечного света; потоками лился он в камеру, насыщая ее золотистою пылью. Задорно играл на оживленных лицах обедающих и ласково щекотал полуобритые затылки, покрытые короткой, твердой щетинкой; шаловливыми зайчиками дрожал и смеялся на закопченном потолке, отражаясь от стеклянных картин.

Светло и солнечно было и на душе Сосновского.

И ясное морозное утро; и быстрая гонка по снежной дороге, от которой играл теперь каждый нерв и сладкой усталостью ныл каждый мускул, и бодрое веселое настроение жены на последних свиданиях — все, казалось, вступило в дружеский союз с кипящей в нем стихией молодости и силы.

Оля получила, наконец, школу. И не только получила, но и ведет ее великолепно. Как весело хохотали они оба во время свидания над рассказами ее о порядках, ею там найденных,

о преподавательских подвигах сторожа, о предложении учениц обучить ее тюремному жаргону и «сахалинским молитвам».

Теперь и положение упрочено и занятия по-душе.

Личную свободу и независимость от кого бы то ни было он ценил так же высоко, как и она. В этом они сходились вполне.

Конечно,—думалось ему иногда, — и Ларовы и Серебрянские судя по рассказам Ольги, не плохие люди, но... все-таки лучше не чувствовать себя в зависимости от них. Люди — всегда только люди, а не ангелы.

Во всяком случае, матерьяльная независимость и общественная равноправность есть сила, а люди с полным уважением привыкли относиться только к силе.

Они могут, пожалуй, и любить слабого, зависящего от них человека, и уважать его за какие-нибудь высокие душевные качества, но... но и в любви их будет всегда проскальзывать оттенок покровительства и уважение будет сдобрено сознанием собственного своего превосходства.

Такие мысли не раз заставляли Сосновского болеть душою за положение жены, ютящейся по чужим семьям. И теперь он радовался, как-будто на вольный свет и простор самостоятельности она вырвалась из какой-то душной тюрьмы.

Собственное положение в кандальной его давно уже не беспокоило. Знали его здесь положительно все. Шаг за шагом, постепенно, даже без особых стараний с своей стороны он завоевал уважение к себе во всех слоях этого общества.

Сколько писем, написанных его рукою шло из-за этих палей во все уголки России!

Сколько глубоких сердечных ран открывалось перед ним в этих письмах!

А писались они обыкновенно где-нибудь в укромном уголке: в бане, в пустующей днем починочной, даже в карцерах, любезно уступаемых для этой цели надзирателем.

Не то, чтобы шум и говор мешал писать в камере.

Нет. Совсем не то.

А просто, чуть только тому или иному арестанту приходилось через письмо говорить с родными, с женой, с отцом, с братом, как он начинал говорить совсем по другому, и его язык да и сами интересы становились непохожими на язык и интересы каторги.

У каждого было нечто заветное, что открывалось только в письме.

И Сосновский тщательно хранил и не выдавал доверенные ему тайны, в результате чего ему стали рассказывать все, не боясь его; завязанные нити росли и крепли, незаметно создавая целую сеть хороших, теплых отношений.

Случилось ему составить кому-то удачное прошение в суд о пересмотре дела; с места получено было извещение, что заявлению дан законный ход, и есть надежда на благополучный исход пересмотра.

И вот на Сосновского посыпались просьбы со всех сторон. Положительно вся кандальная оказывалась невиннее новорожденных младенцев.

Сосновский, конечно, прекрасно понимал, что с точки зрения существующих законоположений огромное большинство этих претензий совершенно неосновательно, и ждать успеха тут нечего.

— Ну что ж?—задорно думал он.—А по-моему, сами законы эти неосновательны!

И заранее уверенный в неуспехе, все-таки писал прошение за прошением, стараясь как можно язвительнее подчеркнуть психологические и социальные нелепости обвинительных актов и приговоров.

— Пусть хоть я-то буду знать все картины каторги в их живой действительности... Как знать, может быть когда-нибудь и пригодится.

Кончилось все это ратоборство тем, что писарь Орлов по секрету предупредил его, что в канцелярии губернатора собирается целая гроза для выяснения авторов огромного количества поступающих туда прошений о пересмотре дел; подозрение, мол, падает на него и обещает мало хорошего, вплоть до «десятого номера», т. е. порки розгами.

— Да плюньте вы на этих волынщиков, Борис Иванович! — говорил Прокурор. — Гоните их в шею с этими дурацкими прошениями! По моему—умел воровать, так умей и ответ держать. Я, вот, убежденный вор. Да разве есть на свете человек — не вор, если собственность есть кража? Прудон, кажется, сказал это? Я только беру прямо, без всяких околичностей, не выматываю предварительно душу, силы и здоровье из человека, как это делают так называемые честные люди. Каждый кого-нибудь эксплоатирует; все — одного, и один — всех; а это разве не воровство? Так не проще ли придти и взять сразу, что плохо лежит? Я-то сыт и пьян, и нос в табаке от этого, а пострадавший пошумит, поволнуется и опять наскребет с ближнего то же самое, что я взял у него. Определенно буду воровать, пока жизнь идет так, как она сейчас идет.

Сидя за ремонтом арестантских котов и чуней, грудой набросанных в починочной, по целым ночам спорили Сосновский с Прокурором.

Одно ему стало ясным в результате: словами этих людей. да и всяких, должно быть, людей не переделаешь смаху; особенно, если слова эти не клонятся к осязательной для них выгоде. Скорее даже наоборот, человек начинает упорствовать на своем, дорожить привычными ему состояниями, с которыми он сжился и на которые теперь посягают.

— Но что же делать тогда?—думает Сосновский.—Кажется, единственный правильный подход, это, вообще пробудить в таком человеке работу мысли над тем, что стало для него простой привычкой; и затем, при каждом удобном случае давать этим идеям надлежащее освещение. Первое уже сделано; и Прокурор, и Черный задеты за живое в самых неприкосновенных укрепах своих. Чёрный, к тому же, едва оправился от горячки, и надломленный организм, вероятно, будет податливее. Посмотрим.

Кончив обед, Сосновский вместе с Прокурором вышли на двор, кишевший народом.

Там только что окончили постройку большой снежной крепости и теперь со смехом и веселой руганью бомбардировали снежками засевших туда защитников. Кое-где на стенах шла уже потасовка, и сцепившиеся противники грудами валились со своих бастионов, при чем побежденным насыпали полные штаны снегу.

В другом углу с увлечением лепили какой-то памятник самого порнографического содержания.

Яшка Дергач руководил работами, отпуская самые непристойные шуточки, а зрители хохотали во все горло.

Выздоравливающий Чёрный сидел на крылечке кандального околодка рядом с приземистым малым буйного вида с широким, свирепым лицом.

Прошла горячка, исчезли видения, затянулись трещины в грубой коре, облегавшей душу.

Казалось, все пошло попрежнему.

Осталась только тихая, ноющая боль, как в не совсем зажившей ране; один неловкий толчок — и она снова готова раскрыться.

Но силы вернулись, и Чёрный досадливо гонит прочь надоедливое чувство; как бы на зло кому-то или чему-то, поселившемуся в глубине его, он нарочно утрирует и черствые стороны арестантских воззрений, и беспощадность арестантских законов.

Он бледен и худ еще после болезни. Но еще крепче сжаты его губы, хотя горькая складка залегла возле углов их. Еще мрачнее горят глаза непреклонной решимостью, хотя синева и мелкая сеть морщинок окружают их.

— Ну и дела же у нас, товарищ! — говорит Ванька Шибаев, наклоняясь к самому уху собеседника.

— Это насчет Головацкого, что ли? — прерывает Чёрный.— Какие же могут быть дела тут? Сказано ему, чтобы молчал, и делу конец. Не о двух головах, чай? Знает, что тюрьма не помилует его, если попробует засыпать Бейлина...

— В том-то и штука, Федор Петрович, что говорят, будто уже засыпал он...

— Как засыпал? Когда? Не может быть! Головацкий — Бейлина?

— Ну да, засыпал. Ты думаешь, зачем он вчера на наряд ходил! Зачем прошение о переводе в другой округ писал? Да вот, дедушку кликнем; он это знает; сам слышал—говорит... Эй, дедка! Святая душа!

— Чего родимые?

К лазаретному крылечку подошел ветхий, маленький старичок, изжелта-седой, с добродушной улыбкой беззубого рта.

Ясные, лучистые глаза его, казалось, вечно смеялись из-под седых, кустистых бровей.

Длинный халат в рукава неуклюже сидел на сгорбленной, высохшей фигуре, а просторные коты на каждом шагу по-старчески шлепали.

— Расскажи-ка, дедушка, вот Федору Петровичу, о чем Головацкий вечор толковал с начальством.

— Головацкий-то?—зашамкал старик, беспокойно озираясь.— Сказывал, ведь... не один уж раз, поди. Чего тут?... Ну, не стерпел... уличил. Бог с ним! Чего тут?... Всякому, парень, жить охота... Пущай бы... Чего уж... Да вы пустите меня, ребятки, неколь мне: веники у меня на вышке, к субботе вниз стащить надо... После я; ужо — вот управлюсь...

— Да ты плесом не бей, Святая душа! Выкладывай! Арестантское дело-то, общее; на всю тюрьму тень. Или по твоему, так оставить? Спустить ему? Сто лет ты в тюрьме, а порядков не знаешь! — раздраженно прервал Шибаев, сильной рукой ухватывая старика за рукав.—Будет тебе аллилуйничать-то, говори толком! А лучше всего, пойдем, Федор Петрович, в починочную! Там сейчас никого нет; чайку поставим... Идем, старина. Веники твои в тайгу не уйдут; тем временем и чайком побалуем.

Компания двинулась.

— О, господи! — бормотал старик, быстрее обыкновенного шлепая котами при помощи мощного буксира двух Иванов.—Тесно людям на белом свете. Грызут друг дружку... А с чего? Закон—скопем; чуть не так что—тюрьма. А в тюрьме—опять же замки! О, господи!

— Ну вот и пришли. Эй, Пашка! — весело крикнул Шибаев молодому мордастому парню, сладко храпевшему в уголке, завернувшись в тулуп. —Чайники, живо! Как есть ты Горячев, так чтобы и чай был в один момент горячий!

Пашка перестал храпеть и лениво поднялся со своего примитивного ложа.

Широко зевая и потирая заспанное лицо, он забрал с полки жестяные чайники и, шатаясь со сна, отправился в баню за кипятком.

— Прихожу я к начальнику на наряд, — начал старик после некоторого препирательства.—Прихожу я туда, други вы мои милые, насчет, значит, неспособности своей. Так что, как восьмой

десяток мне кончается, то в богодулы не будет ли милость начальника. Давно я ведь уж так-то маюсь. Смеется начальник. Известно, ихнее дело—господское. Им все смешно... Нешто они понимают? Ну, ладно. Вот, пока мы судились тут с ними, народ то весь, значит, вышел. Начальник берет этта шапочку, велел достать мой «статейный».—Ладно,—говорит,—старик! Иди пока в кацелярию; я, мол выйду к тебе сейчас. Пошел я... Только за дверь зашел,—кандалы брякают и, слышу, начальник говорит: «А-а, Головацкий? Чего, мол, ты? Али надумался, парень?» А тут и Головацкого голос: «Так точно, мол, вашескородь, надумался. Потому, как я этому делу не причинен, то и вторую каторгу принимать за-напрасно не желаю».—«Ну, расскажи все по-порядку, как было», говорит начальник; и тут же велел писарям выйти. «Сам, говорит, запишу показание». Вот вышли писаря, а я притулился в канцелярии у самой двери и стою.—Начальник, мол, дожидаться велел! — говорю писарям-то. Ну и начал тут Головацкий рассказывать все дело, как было. Все передал в точности. Как пошли они бродяжить вшестером: он, Бейлин и четыре грузина; как Бейлин отстал в тайге, незахотел с ними идти, боялся, как бы не пришили за деньги, потому: деньги у него были с собой; как добрались они до «Погибей», сели в лодку... Как ехал Домбровский, полицмейстер тогдашний, увидел их и остановил; как он, Головацкий, второпях уронил свой бушлат в море, а Домбровский с-издаля думал, что человека он сбросил; как поймали их и повели на допрос; допрашивали — куда девался Бейлин и не верили, что отделился он задолго допреж того, в тайге еще... «И вот, три года я мучусь», говорит Головацкий, «под следствием за убийство Бейлина; грозят мне вечной каторгой и плетями, а Бейлин этот вернулся и под чужой фамилией в тюрьме вместе со мною сидит».—«Так ты уличаешь его?» спрашивает начальник. «Уличаю, так точно!» говорит Головацкий, а потом—бац на колена, аж кандалы загремели.—«Помилуйте, говорит, вашескородь, переведите меня, значит, в другую тюрьму, либо в богадельню. Убьют меня здесь за это»... И сам плачет. «А за что?» говорит: «Какое зло я кому сделал? Нешто товарищи так поступают, как Бейлин? Пришел и молчит; бродягой, непомнящим назвался; себе срок сокращает, а меня топит»... Плачет таково жалостно... И меня тут пробрало. Вот, думаю, каша заварилась! И не поймешь тут, с которого конца расхлебывать! А грех только! Грех вам, ребята! Зачем подбивали молчать Бейлина? Затем, что Иван он? Неладно это... Грех обижать своего же брата, «несчастного». Обидели вы Головацкого, вот и он неладное сделал, товарища выдал... Беда одна не живет. Так-то-ся! Один грех за другой цепляется... Так-то-ся! Не надо мне и чаю вашего. Спасибо на добром слове. Не надо! Веники там... Народ в баню пойдет в субботу... приготовить надо... А грех вам, ребята! О, господи!

Старик, бормоча и шамкая, выбрался из низенькой двери починочной и нога-за-ногу заковылял по двору, шлепая просторными котами по гладко убитым снежным дорожкам. (рис. 3).

Во время рассказа Святой души Чёрный молча сидел на низеньком сапожном табурете.

Обхватив руками одно колено и грозно нахмурив свои черные, почти сросшиеся брови, он смотрел в угол ничего невидящими глазами.

Казалось, он мрачно прислушивался к чему-то происходящему глубоко внутри его.

А внутри его совершался новый, странный для него, болезненный процесс борьбы.

Ему становилось жаль Головацкого, и это удивляло его; мало того, эта непривычная жалость сбивала его с толку, лишала обычной самоуверенности, вносила досадное раздвоение в его душу.

— Что же делать теперь, Федор Петрович? — вывел его из задумчивости Ванька Шибаев.

— А вот мы увидим...

Чёрный встал и глаза его злобно загорелись.

— Надо собрать наших здесь ночью завтра или послезавтра, когда выйдет удобный случай... Когда Тришкин дежурный? В среду? Ну вот, я скажу ему. Парень фартовый, даром что сухарник. А ты об'яви там, пусть соберутся... Завтра попрошу доктора, чтобы выписал меня из околотка; скажу: отдохнул довольно.

Собеседники расстались.

Через неделю шесть Иванов после вечерней поверки сидели в починочной.

Денисов, или как звала его вся тюрьма, Прокурор на этот раз работал там один. Накануне он отсоветовал Сосновскому идти на эту ночь в починочную.

— Там соберется вся тюремная головка... Будут приняты, может быть, жестокие решения, и вам лучше не присутствовать... Знаете, вас все равно не послушают, так как тюремные традиции сильнее всяких личных симпатий. Уже поверьте мне и лучше не ходите! — говорил Прокурор.

Сосновский послушался, хотя решил сделать все возможное, чтобы помешать, если только Иваны замышляют какое-нибудь черное дело.

Прокурор сидел теперь у низенького, грубо сколоченного столика и при мерцающем свете крошечной лампы быстро накладывал заплаты на коты, сапоги и бродни.

Целая куча этих опорков валялась под правым его локтем; налево откладывались уже исправленные.

Его русая голова и тонкий красивый профиль отчетливо выступал в узком сиянии лампочки.

У другого конца стола, скрестив на груди руки, сидел Чёрный. Его бледное лицо смутно виднелось из тени угла, к которому он прислонился спиной; одни глаза горели ярким, лихорадочным светом под черной полосою нахмуренных бровей.

На столике, между шильями, дратвой и обрезками кожи стояла початая бутылка водки, тарелка с соленой кетой, куски хлеба и несколько чашек.

На полу, спиною к маленькой печке, разлегся Ванька Шибаев. Он оперся на локоть, и его широкое, свирепое лицо казалось еще неумолимее от прыгавших по нему пятен света и тени.

— Петлю на шею, и дело с концом! Что за церемонии? — повторял он время-от-времени, дико вращая посоловелыми от водки глазами.

Рядом с ним, в темном углу, еле виднелась массивная фигура Федьки Осетина.

Присев на корточки, он молча попыхивал коротенькой трубкой.

Красноватый отблеск при каждой затяжке освещал лицо человека, ни в чем не знающего удержу, бесшабашно упрямого и самолюбивого.

Остальных почти не было видно.

В полумраке маленькой комнатки шевелились только какие-то бесформенные очертания халатов, и лишь по временам тускло поблескивал полуобритый череп, попадая в полосу света.

Огромные черные тени бесшумно двигались по потолку. Закоптевшие стены тонули во мраке. Лампа чадила, распространяя удушливый запах керосина.

— Вот ты все твердишь: петлю на шею, и дело с концом! — говорил, Прокурор, быстро постукивая молотком по измызганной подошве кота.—Не так это просто, товарищ! Не забудь, что ты должен тюрьме дать ответ.

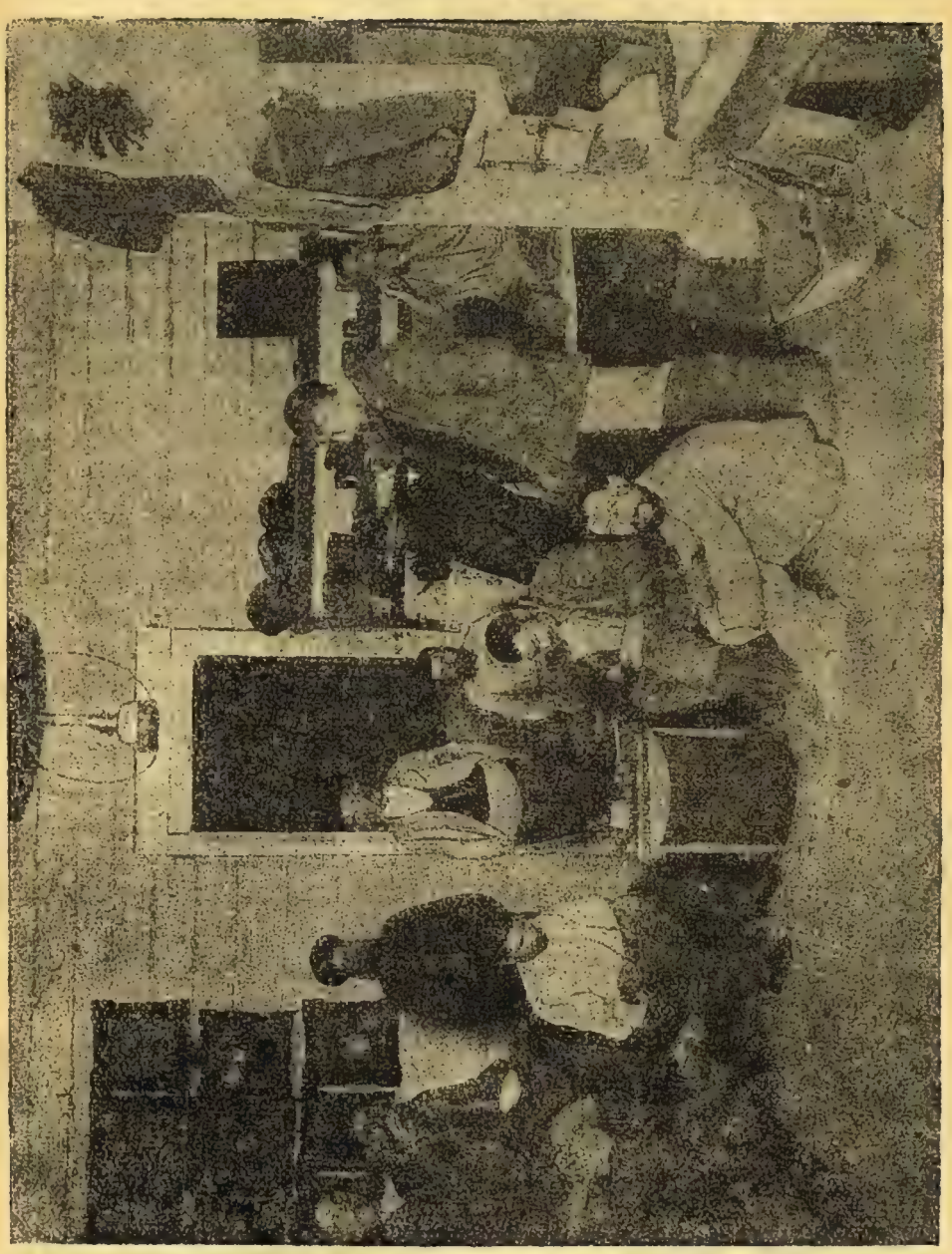
Он закусил губы и критическим взглядом окинул никуда негодный бродень, надев его на руку и протянув к лампе.

Неприятные воспоминания иногда угнетали Прокурора. Вот и теперь. Угрюмая, молчаливая тайга вспомнилась ему; озлобленные лица кучки бродяг; привязанный к дереву изменник, с голоду пытавшийся спасти себя, предав товарищей ближайшему сторожевому кордону.

Мнения разделились тогда, но он, Денисов, выступил в роли прокурора, и предатель был повешен.

За ним так и осталось с тех пор это прозвище.

Кошмарной вереницей пронеслись перед Денисовым эти воспоминания; сердце болезненно сжалось, и вот невольно тянул он к защите Головацкого.



В починочной.

— И чего только Чёрный так озлобился? Не будь этого, еще отстоять бы можно... Как посмотрю я в глаза Борису Ивановичу теперь? А он, наверное, узнает после, о чем было совещание... И зачем я только отговорил его... Пусть бы сам посмотрел, что можно сделать с такими дьяволами?

— И в самом деле, — продолжал он, привычной рукой суча на колене дратву, — нельзя очень строго судить Головацкого. Человек доведен до отчаяния. Он вынужден был, понимаете — «вынужден»—уличить Бейлина. То, что он уличил, предал—это плохо, не по-арестантски; что не послушался тюрьмы—это против всяких правил. Но то, что он был вынужден к этому, очень смягчает вину...

— Полно плести! — прервал его Чёрный. — Чем он был вынужден? Тем, что не хотел беспрекословно исполнить арестантского правила, не хотел подчиниться нашему решению, решению всей тюрьмы? Сам же ты говоришь, что это против всяких правил, не по-арестантски. В чем же смягчение еще отыскалось?

Черный говорил раздражительно, громко, стараясь заглушить внутренний протестующий голос.—За что хочешь ты карать Головацкого?—назойливо шептал этот голос.—За то, что он предал? Но ведь и ты предал его. Ты сам вместе с другими Иванами предал на новую каторгу невинного человека. Каково ему было нести наказание за убийство, когда мнимая жертва его сидит здоровехонька тут же в тюрьме рядом с ним, в одной даже камере? Поставь-ка себя на его место! — и все громче и назойливее становился этот внутренний голос.

— Все равно! — продолжал взвинчивать себя Чёрный. — Все равно!—Не смел Головацкий уличать товарища! Бейлину ведь грозила вечная каторга, плети, а, может быть, и тачка... Бейлин хороший товарищ, известный Иван, а Головацкий дрянцо, подхалим. И что решила тюрьма, то свято. Терпи! Хоть в петлю иди, но молчи... Убить его мало. Спусти одному, и житья не станет в тюрьме... Не тюрьма, а сыскная полиция будет.

— Не то! — снова звучало внутри его. — Просто хваленый Иван твой, Бейлин, струсил плетей да вечной каторги и за себя оставил страдать другого, а вы, Иваны, поддержали своего, дали ему отыграться на нелюбимом товарище. Разве не вынужден он был сам защищать себя? Вся беда в том, что не побоялся он вас, Иванов.

— Правда, нельзя, старики, так оставить! — протянул из угла Федька Осетин, выколачивая трубку и поднимаясь на ноги.— Срам всей тюрьме будет. Ведь Головацкий станет болтать, это мы его заставляли принять вторую каторгу за Бейлина и дали только десять целковых выкупа. Да и как-то зазорно! Верно, что спусти одному — и житья не станет. Этак всякий пойдет уличать, доносить и прочее, если на него страху не будет. Пришить

его, и концы в воду! Все само собою обойдется, и другим — наука.

— Вер-рно! — подтвердили остальные, вставая с полу и собираясь кокруг столика.

— Ну, и чорт с ним! Давайте-ка еще по чашечке!

— Верно-то верно! — протянул Прокурор, наливая водку.— Да кто сделать-то возьмется? Не ты ли уж?

Он испытующе взглянул прямо в глаза Чёрному.

— Я, с своей стороны, против «темной»; пусть бы убрался в другую тюрьму... Но не хочу отставать от других, рушить арестантское правило. Сказано: за язычество смерть! Ну, и быть так! Только я не берусь... Как угодно!

Наступило молчание.

Собеседники, стоя в кружок, пили водку, высоко запрокидывая чашки. Слышалось бульканье. Черные тени кивали на потолке огромными головами.

— Ты больше других вот обвиняешь Головацкого, — продолжал Прокурор, ставя чашку на столик и выбирая куски соленой кеты. — Больше всех стоишь за темную. Ты сам и кончай!

— А ты думаешь, что же? — стукнул по столу Чёрный.

Он чувствовал, что начинает хмелеть после выпитой водки; и это явление, вполне нормальное для неокрепшего после болезни организма, приводило его в бешенство.

— И кончу! Коли начал, так и кончу! За Голынским Сашкой не пошлю, не беспокойся! Я, если что говорю, так, значит, крепко уверен; а если уверен, то постоять сумею и на попятный не пойду. Сказано — сделано. Кто судит — тот и казни. Палачи для бар выдуманы... Палачей нанимают, потому что сами себе не верят. Меня никто не наймет и не купит; и я нанимать никого не пойду. Я не палач, а темную сделаю всякому... своими руками сделаю всякому, кого осужу на это, как Головацкого. Не хотел бы сам сделать,—не говорил бы! Или я ботало, не арестант уже? Или по тюрьме первый год?

Слушатели поддакивали, жуя рыбу и наливая водку из новой бутылки.

— И не просто сделаю, а удовольствие получу! — с мучительной злобой хрипел Чёрный, сверкая глазами и стуча пустой бутылкой по столу.

— Врешь! — насмешливо отзывалось внутри его. Ты просто раскис и боишься показать это. Тебе просто-на-просто жалко. И то, что тебе жалко, тебе досадно. Ты злишься и трусишь. Ты — железная воля, надежда и гордость тюрьмы, — ты жалкая мразь! Ты не смеешь даже сказать им правды, лжешь и злишься на это... Оттого и виноват у тебя Головацкий.

— Вр-решь! — скрипнул зубами Чёрный. — З-задавлю, как собаку паршивую! Своими руками глотку перерву!

Кровь ударила ему в голову, и огненная завеса заколыхалась перед глазами.

— Брось, Федор Петрович, не кричи так! Тришкин просил потише. Услышит,—неловко: обидится; человек нужный, фартовый; надо уважать! — уговаривала компания. — И куда тебе «темную» делать? Не оправился еще; в чем душа держится... Видишь: захмелел с одной чашки.

— Я возьмусь!—проговорил Шибаев, мрачно глянув воспаленными глазами в угол починочной.—У меня с ним старые счеты...— буркнул он в пояснение.—Одному только не сделать без шума...

— Конечно, двоим надо,—подтвердили остальные.

— Идем что-ли, Цыркач?

— Ладно!—с деланным равнодушием отозвался высокий молодой арестант.

Он недавно удостоился чести быть принятым в компанию Иванов и всеми силами старался во всем подражать им. Бывший наездник цирка, он обладал значительной физической силой и, кроме того, у него водились деньжонки, что, в связи с его щедростью, открыло ему доступ в компанию тюремных воротил.

— Значит, как будет удобный день, часа в 4, после работ выманить «его» из камеры за корпус... там петлю на шею и—крышка. Удастся — закопаем под баней; не удастся—чорт с ним! Пускай разбирают, кто да за что! — Ну, будет. Допивайте, что ли. Спать что-то охота.

Починочная ночью не запиралась, чтобы сапожники до утра могли разнести по коридорам корпусов исправленную обувь.

Чёрный вышел на двор.

В душе его бушевала буря. Душили злобные слезы бессилья.

Хотелось сломать что-нибудь, ругаться, кричать во все горло, только бы заглушить ненавистное чувство лживости своего положения.

Скрипнув зубами, до боли сжав кулаки, он поднял глаза к высокому темному небу.

Там было все так спокойно!

Как печальные очи, тихо мерцали звезды... Острым, сухим морозом веял ночной воздух.

Смутно белели высокие, острые пали.

. . . . . .

Крупные хлопья снега валились, не сыпались, а именно — валились с неба, когда Сосновский, Прокурор и два мало знакомых им черкеса закрепили, наконец, свои тяжи у доставшейся им здоровенной кокоры.

Черкесов пустили к заднему, плоскому концу, сами встали у переднего, загнутого; под крутым углом поднимался он почти на сажень кверху, напоминая полоз гигантских саней.

В таком виде и надо было тащить кокоры из Михайловки.

Целое лето заготовляли их там для постройки барж, а зимою кандальные перетаскивали все это к стапелю, в устье реки Большой Александровки.

— Ну, кажется хватим мы горя сегодня, Борис Иванович,— говорил Прокурор, подпирая плечом загнутый конец кокоры, и поглядывал на небо.

Ни одним словом не обмолвились они между собою о вчерашнем заседании.

Сосновский не хотел навязываться с расспросами, а Денисов рад-радешенек был этой деликатности и тоже молчал; он в глубине души считал, что затеваемое ими дело—зряшное дело, да и жестокое без нужды. И уж, конечно, тут многие засыпятся— очень уж нефартовое дело.

Между тем, как и всегда на Сахалине, едва заметный с утра ветер начал крепчать.

Снежные хлопья завертелись, смешались с поземицей, и не успела партия каторжан отойти и двух верст, как заревел и закрутил настоящий буран.

Сосновскому приходилось плохо.

Длинный, тяжелый конец бьет в грудь и плечи.

В глазах темнеет от этих ударов.

А ветер все крепчает и неровными порывами с воем и свистом бросает в глаза снежные волны.

Денисову легче; он идет слева, со стороны ветра.

— Догадался бы перемениться... А сказать неловко...

Еще верста; осталось целых четыре!

— Ну нет, не сдам!—Сосновский закусывает губы и, стараясь дышать как можно ровнее, обеими руками обхватывает загиб кокоры; тяж он снял с плеча и обвязал вокруг пояса.

Теперь он как-бы слился с кокорой. Удары стали не так резки и оглушительны.

Еще верста.

Буран воет и стонет. По-временам не видно даже Денисова.

Точно белая, вся исполосованная стена несется между ними.

А ветер крепчает и крепчает.

Кокора, как живая, мечется и борется с Сосновским, как-будто стараясь повалить его на землю.

Ноги, спина и шея напряжены, как струны. Каждый мускул натянут; поднятые кверху руки сплелись и закоченели.

Еще верста. Только две осталось...

Эх, хватит ли силы? Проклятая рана болеть начинает...

Вот неловкое движение и, там, в ней, что-то сжалось, стянулось узлом, страшной болью пронизало тело... и разом ослабло его закостеневшее напряжение.

Болезненным жестом Сосновский хватается за живот, инстинктивно вправляя ущемленную грыжу.

Прошло. Но равновесие сил потеряно, пропущен момент очередного нажима, и кокора точно пользуется этим.

— Р-раз! Р-раз!—Левая рука не выдерживает одиночной борьбы с этой саженной махиной.

Соскользнув, она всею тяжестью навалилась на плечо.

Отвернувши лицо, Сосновский быстрым вольтом корпуса ловит ее на грудь: она крепче ключицы.

Еще удар. Но он уже справился и снова стальной пружиной прильнул к кокоре.

— Главное—дыхание и спокойствие,—смутно мелькает у него в голове.

Однако, это не так легко. Он чувствует, что в груди начинает жечь, как огнем, и сердце, не слушая никаких приказаний, бьется, как птица в клетке.

Один только, один момент, одна несчастная случайность, и он выбит из колеи. Размеренное, почти механическое сопротивление в самом корне предупреждало до сих пор бешеные атаки деревянного чудовища. Теперь оно одолевает.

Нервными порывами держится еще Сосновский. Но в глазах его темнеет, в голове мутится. Теплой соленой волной заливает вдруг рот. В груди резкая боль, тошнота...

. . . . . .

Лишь через два дня настолько оправился Сосновский, что мог выйти из околотка.

Его поместили теперь в сапожную мастерскую, так как для «тяжких работ» он больше не годился.

Туда же с ним перебрался и Прокурор.

В этой камере было много просторнее, чем в других. На нарах стояли обитые кожей круглые табуреточки; сидя на них, постукивали молотками и размахивали в обе стороны дратвой человек 15 сапожников, в том числе и Головацкий. Возле печки, на деревянных досках с крутым вырезом по форме под'ема ступни, или иначе, на «крючках» просушивались вытяжки; везде валялись обрезки кожи, пахло дубильной кислотой и сапожным варом.

За стеной в этом же коридоре помещался околоток.

Сосновского встретили приветливо, почти радостно.

— Сюда, сюда, Борис Иванович! Вот местечко: и тепло, и удобно. От окон далеко... да вы ведь какой сапожник! На волю работать, поди, не сможете, как мы... вам и там ладно... Впрочем, если желаете...

— Нет, нет, старики! Ничего я не желаю. Хорошо и здесь. Как вы, Денисов, думаете?

— Живет и так... Ну, как хотите, а новоселье спрыснуть следует. У кого деньги есть, гони сюда; оборудуем живо.

— Вы чего это, Борис Иванович? Никак, пай внести хотите?— обратился к Сосновскому старый знакомый, Муха.—Не-ет, милый!

Это уж надо отставить. Мы угостить вас желаем, а не то, чтобы с вас пользоваться. Так что ли, старики?

— Известно так,—раздались отдельные возгласы.

— Вот, если почитать нам когда согласитесь роман какой-нибудь позабавистее, вот это так! Днем-то шумно, зато вечера длинные; обалдеешь так-то сидеть да головой мотать...

Так совершилось вступление Сосновского в сапожный цех.

Под руководством таких профессоров, как Прокурор и Муха, он быстро проник во все тайны сапожного искусства и шил довольно сносные кеньги, сапоги и бродни.

На урок полагалось по паре в день, причем раскроенная кожа выдавалась накануне.

Натянув с вечера вымоченную в теплой воде кожу на деревянные «крючки», он часа полтора, два читал вслух притихшей камере то Гоголя, то Брет-Гарта, то Некрасова,—все, что могла достать его жена из плохонькой библиотеки при канцелярии губернатора.

Литературные вечера эти происходили обыкновенно уже после поверки, когда двери камеры запирались на ключ и никто не мог помешать чтению.

Для него достали стенную, довольно светлую лампочку и усердно всей камерой воровали керосин, где только возможно.

Тишина соблюдалась при чтении строжайшая.

Только мягкий стук молотков по подошвам нарушал ее иногда ритмическим коротким повторением.

— Отдохните, Борис Иванович,—заботливо говорит кто нибудь.—Я тем временем колодки вышибать стану.

Почти всегда прочитанное возбуждало самый оживленный обмен мнений.

Особенно нравились «Калифорнийские рассказы» Брет-Гарта.

— Ну, совсем наша «Желтуга», ей-богу!—умилялся Муха.

И начинались бесконечные воспоминания о знаменитой Желтугинской республике.

Около 1883 года на маленькой речке Желте или Желтуге, длиною всего-то в 15 верст, сразу за китайской границей, в бассейне Амура, случайно кто-то из беглых обнаружил богатейшие золотые россыпи.

Разнесшийся по тайге слух о сказочных богатствах в один год собрал туда до шести тысяч как русских, так и китайских авантюристов.

Они устроили там нечто вроде республики с выборным управлением, судом и драконовскими законами.

Республика просуществовала три года и была, наконец, разогнана китайскими войсками.

— Вот где раздолье-то было, Борис Иванович! — повествовал Муха. — Золото нипочем! Мешками носили. Бывало, едва

подымаешь мешок-то, а работал всего 5—6 месяцев. Сдавали золото скупщикам китайским. На весы вместо гирь карты клали новые. Карта—золотник считалась. Бутылка ханшину китайского—золотников пять шла. Бутылка спирту—20 золотников. Сапоги новые—20 золотников, шаровары плисовые—то же самое. А чего нам золотники-то эти считать? Давай только, что понравилось. Я там два года выжил, а голый вышел. Хо-хо-хо! Зато уж погулял,—эх! Вот насчет мошенства там строгость большая у нас была и насчет сторожевой службы. Пикеты кругом очередные стояли на сопках. Законы такие: за воровство руку отсекали и в тайгу прикладами. Вались, куда хочешь! Ясное дело—подохнет, либо на зверя нарвется. За убийство, или если на посту в пикете заснул—живым в муравейник закапывали; а то сведут в падь на болото, разденут и к дереву привяжут. А мошки там и комаров этих—сила несосветимая. Столбами стоит, будто пожар там внизу, и черный дым стелется; едва, бывало, выскочишь оттуда на хребты-то. Вот «он» как начнет там орать, голый-то! И клянется, и хохочет, и плачет—воет голосом прямо нечеловеческим. А отвязать или пристрелить не смей, самого за это на его место поставят. Закон такой! Часов 5 покричит и перестанет: подохнет. Там я и рубец этот заработал.

Муха указал на огромный сине-багровый шрам, пересекавший его лоб и щеку до самого подбородка.

— Кокнул одного по пьяному делу, а он с катушек долой, и дух вон. Бросились тут на меня, связать хотели, да я раскидал их и на-утек. В хребтах у сторожевого винтовку отнял, дал ему пинка хорошего и—прощай, Желтуга! Только рубец этот и унес с собою на память. Винтовку пропил в Стретенске. Вот и все. Поневоле за разбой примешься, когда честным делом не дали заниматься!—неожиданно заключил он при общем смехе.—Вот горе мое, что грамоты я не знаю, Борис Иванович; а то описать все, что было со мной за всю-то жизнь,—большие деньги взять можно!

— Так в чем же дело, Муха? Научиться недолго.

— Да ну? Нешто возможно это? Ведь я только в шутку сказал этакое, а вы... Значит, взаправду возможно обломать меня, этакую орясину? Только, нет—ничего не выйдет, да и стар уже я учиться.

Тем не менее, Сосновский попробовал.

Достали букварь, и уроки начались.

Муха перед каждым уроком клал под рукою у своего учителя здоровый шпандырь из воловьей кожи и убеждал бить «прямо по башке, ежели что не пойму».

Соседи сначала с недоверием относились к этой затее и добродушно посмеивались, когда Муха, весь красный и потный от натуги, водил огромным, корявым пальцем по букварю и складывал слова по слогам.

— О-сы, у-сы; у о-сы у-сы,—гудел он зычным басом.

— Гляди-ка, Борис Иванович, выходит, ведь!

— Дурак ты, Муха! только у человека время отнимаешь. Вздуйте вы шпандырем бугая этого, Борис Иванович, и дело с концом,—советовали соседи.

Но когда Муха из четырех вырезанных из бумаги букв сложил слово: муха, и прочитал по складам,—все весело загалдели.

Дальше этого слова он, впрочем, не двинулся. Хотя многие пожелали учиться.

Чтение сменилось импровизированными лекциями, большею частью самого пестрого содержания.

— А что, далеко до луны, Борис Иванович?—спрашивает, например, Прокурор, задумчиво поглядывая в окно, на ее бледное, нежное сияние.

И вот, начинается лекция. Вопросы сыплются со всех сторон, и тема меняется за темой, цепляясь одна за другую.

Слушатели хотят знать все решительно, хотят знать гораздо больше, чем знает сам лектор.

От научных астрономических данных они переходят к вопросу о населенности планет; отсюда—к спектральному анализу, фотографии и телескопам; из Пулкова мгновенно переносятся в Филадельфию, путешествуют по Кордильерам и пампасам и добираются до Панамского канала; покинув географию, углубляются в дебри истории.

Один Головацкий никогда не принимал никакого участия в общем увлечении.

С того памятного дня, когда не в мочь ему стало терпеть, когда явная несправедливость товарищей довела его до предательства, он нигде не мог найти себе места.

Едва после допроса вернулся он в тюрьму, как ему стало казаться, что все уже знают; одни смотрят на него как-то странно, косятся; другие замолкают при его входе; все будто сторонятся.

— Неужто знают уже?

А начальник молчит до сих пор. Обещал перевод в другую тюрьму... Обещал и... молчит. Забыл, или нарочно?..

— Что ж это будет?—с тоской думалось ему; и он то сидел в своем номере, не выходя, по целым дням тачал казенные сапоги, стараясь забыться в работе; то без дела слонялся по всей тюрьме.

Он прислушивался к разговорам, подозрительно оглядывал каждого, подходившего к нему слишком близко.

Сначала ему было страшно, до ужаса страшно.

Ночью он не мог заснуть ни минуты, пугливо вздрагивая и крепко сжимая сапожный нож при каждом шорохе.

Вот он забылся.

Вдруг нервный толчок и—холодный пот обливает его бритый череп; глаза расширяются в ужасе, и он невольно выхватывает нож из-под изголовья.

Поднявшийся сосед тоже вздрагивáет; рука его, чесавшая накусанные плечи, замерла в воздухе.

С минуту они изумленно глядят друг на друга. Потом сосед слезает с нар; вполголоса бормоча нелестные пожелания «сумасшедшему чорту», он идет к ушату с водой.

Словно теплая струя пробегает по спине и груди Головацкого.

Замершее сердце начинает стучать громко и часто.

Он отдыхает.

Но через минуту новая мысль леденит его душу.

— А что, если глаза отводит? Если это «он», подкупленный Иванами... Тюрьма мстит без пощады.

Умереть? Быть убитым? Ночью... во сне... И никто не услышит, никто не поможет! И не пожалеет никто... Как собака бродячая; пришибли и... кончено! Мимо!..

Он убивал... Жену убил, когда был солдатом в России... За измену. И потом, по бродяжеству, случалось... Раза два было «это». Он видел, как умирают под ножом. Ох, страшно!

Пальцы, как крючья сведет, кровь брызнет...

А глаза? Ужас какой в них...

И мне так же? Мне? Муки такие... и ужас... и все...

И он, стуча зубами, вставал и шел к воде; но вода была теплая, мутная, затхлая и не могла освежить пересохшего горла.

Он похудел, опустился. Щеки ввалились. Давно небритая щетина отросла на них полуседыми клочьями.

От бессонных ночей, полных предсмертной муки, глаза его покраснели, и опухли веки.

Потом его охватило тупое отчаяние. Он устал ждать, устал бояться; отупели нервы... Перемучился.

— Будь, что будет; даром не дамся!

Он почти равнодушно ходил по тюрьме, засунув руку за пазуху сапожного фартука. Там лежал широкий, отточенный нож.

Вот Васька Цыркач строит ему какие-то рожи и манит к себе пальцем, выглядывая из-за корпуса.

Спрятался. Вот снова глядит и шепчет вполголоса:—да скорее же, чорт!

Машинально идет он туда.

Поровнялся с углом... Что это?

Что то хлестнуло по шее и затянулось. Красное, злое лицо Шибаева; его сверкающие глаза и свирепо закушенные губы.

Конвульсивным движением он вырывает руку с ножом из-за пазухи.

— Р-р-аз!—Нож входит, как в масло...

Поворот наискось вверх... Лицо исчезает; петля ослабла...

Слышится крик: «Зарезал! Убил!»

Кто-то копошится у его ног...

Он стоит, жадно и тяжело вдыхая в себя воздух.

В висках стучит, и земля будто плывет под ногами.

Кругом его вопли... Теснится множество лиц. На него наскакивают...

Вот кто-то ударил палкой, но плохо; попало вскользь.

Он поднимает руку с ножом. Он красен—этот нож; с конца его брызнула капля...

Толпа растет: «Шибаев!.. Головацкий!.. Зарезал...»

Отдельные слова тонут в угрожающем реве.

Гремят револьверные выстрелы вверх.

Он вздрагивает, проводит рукой по лбу и тупо глядит на Шибаева.

Тот сидит на земле, согнувшись, и обеими руками держится за живот.

Из-под пальцев ползут какие-то грязные лохмотья; широкими струйками бежит кровь.

Внезапная злоба и страх закипают в сердце Головацкого.

— Ишь, сволочь!—хрипло говорит он побелевшими губами.— Людей душить?—и, держа нож перед грудью, он быстро идет в камеру.

Толпа испуганно шарахается, оставляя проход.

Видны бегущие со всех сторон фигуры; весь двор заполняется ими.

Он входит в сапожную мастерскую и захлопывает за собою дверь.

На дворе слышен рев и топот. Протяжный, дребезжащий свисток... Опять выстрелы.

Там Чёрный с огромным колом-водоносом гоняется за кобылкой.

— Упустили, трусы проклятые! Иуды... А-а-а!—ревет он с перекошенным лицом, носясь по двору и взмахивая своим страшным оружием.

Надзиратель, выпустив все патроны, вскакивает в коридор.

Гремит засов. Щелкает ключ.

— Где Цыркач? Давайте подлюгу сюда!—гремит за окном голос Чёрного. — За мной, ребята! Ломай дверь! Долой чортовых духов!

Топот ног в коридоре... возня.

— Прочь револьвер! Убью!

В дверь сыплются тяжелые удары.

Головацкий стоит на нарах у двери, согнув ноги в коленях и весь подавшись вперед.

В руке его краснеет окровавленный нож; глаза округлились...

Страшно оскалились судорожно сжатые зубы.

Человек десять сапожников, сбившись в одну кучку, из дальнего угла следят с немым ужасом за этой сценой..

Сидя на своем табурете на нарах, с неоконченным сапогом в руках, смотрит на все это Сосновский.

Окровавленный нож в руке Головацкого, дикие крики на дворе «Шибаева... зарезал...»—как-то сразу делают для него все понятным.

— Так вот почему отговорил его «тогда» Денисов идти на заседание Иванов в починочную!

С укором он смотрит на Прокурора, но тот вместе с Мухой слезли уже с нар и стоят перед Сосновским, видимо с целью защиты.

Невольно, с тихою лаской кладет он руку на бритую, огромную голову Мухи, но тот даже не замечает этого.

— Сиди смирно, Борис Иванович!—в полоборота бросает ему Денисов.

Топот, рев сотни глоток и громовые удары в дверь все растут.

Вот чьи-то руки просунулись в дверное окошечко и рванули решетку. Еще пара рук переплелась с ними.

Решетка выгибается... исчезла.

Судорожно скорченные руки цепляются за края отверстия.

Дверь дрожит, трясется стена.

Вот лопнули петли.

Мгновенно на месте вырванной двери появляются красные озверевшие лица, мелькают дубины, свистят камни.

С треском влепившись в противоположную стену, они рассыпаются сотней осколков, или, дав рикошет, прыгают по всему номеру.

Сапожники в ужасе жмутся к стене. Сосновский видит, как некоторые лезут под нары.

С огромным водоносом в руках врывается в камеру Чёрный.

Согнувшись, как кошка, с проклятием бросается на него Головацкий.

Но в это время метко пущенный камень ударил его прямо в темя.

Он отшатнулся и упал на нары.

Прижавшись спиною в угол, полусидел он, вытянув ноги.

Страшный водонос поднялся широким размахом и опустился.

Еще и еще...

Мгновенно камера заполнилась народом. Все хотели бить и мешали друг другу.

Мелькали палки и колья. Слышался звук молотьбы по нарам, по стене, и тупые удары по телу лежащего человека.

Возмущенный Сосновский соскочил с нар с криком:

— Оставьте! Что вы делаете?

Но Муха с Прокурором схватили его и, как в тисках, держали своими железными лапами.

— Ружья на перевес! Бегом марш!—отрывисто гремит за окном.

Опять возня в коридоре. Камера быстро очищается.

Против избитого тела остается один Чёрный.

На мгновенье все смолкло.

Он, точно проснувшись, удивленно смотрит вокруг себя мутными, налитыми кровью глазами.

Чудом уцелевшая лампа, со сбитым на бок железным абажуром, качалась под потолком, описывая широкие круги.

В робком ужасе смотрела на него из угла кучка зрителей. Весь пол пестрел осколками камня, обломками палок.

На нарах лежит кто-то навзничь.

Запрокинутая, свесившаяся голова. Лоб рассечен камнем.

Это—Головацкий.

Лицо его залито кровью, руки раскинуты. Одна неестественно согнута.

— Сломана!—мелькает в голове Чёрного.

Дико взглянул он на свой водонос и бросил его на пол. Быстрым прыжком вскочил в камеру молодой, безусый солдатик и, молодецки звякнув ружьем, взял на руку.

— Смирно-о!—кричит он не своим голосом.—Заколю!

В его водянистых голубых глазах написан ужас и решимость отчаяния. Видно, что со страха он, действительно, заколет всякого, кто шевельнется.

Молча взглянул на него Чёрный.

В голове его вихрем неслись обрывки мыслей. В груди что-то жгло. Сердце болело, и чувство ужаса перед ложью сделанного, незнакомое чувство жалости кольцом сжимало его.

Какой-то туман колыхается...

В голове сразу стало как-то до ужаса ясно и пусто.

Точно не он, а другой кто-то стоял здесь, в двух шагах от окровавленного, страшного, избитого тела.

Чуть ли не впервые в своей каторжной жизни он подумал о бессмысленности убийства. Чтобы ни сделал человек, а все не стоит того, чтобы тут же пришить его, как телку.

Чёрный схватил себя за голову.

Солдатик шире раскрыл глаза, тряхнул штыком и пригнулся.

Слабый, чуть слышный стон жалобным вздохом пронесся по камере.

Головацкий открыл глаза и шевельнулся, желая поднять затекшую голову.

Но она бессильно упала, глухо стукнув о край деревянных нар.

Болезненный стон повторился с удвоенной силой.

Острое чувство, жалость и радость вместе пронизали сердце Чёрного.

Не помня себя, он бросился вперед на помощь...

Солдатик сделал выпад.

Молнией сверкнуло узкое лезвие штыка и скрылось в груди тюремного Ивана. С мягким стуком толкнулось его тело о нары и тихо сползло на пол.

Сосновский закрыл лицо руками.

ГЛАВА VIII.

Стоял март месяц, и крепкий Зюд-Вест разбил, наконец, лед на середине Татарского пролива.

Теперь волны его весело шумели после долгого зимнего молчания. Подгоняемые ветром, огромные льдины лезли друг на друга, тяжелыми массами громоздились на ледяное поле и, проломив его, с грохотом пушечных выстрелов расползались в разные стороны, все расширяя и расширяя темнеющее водное пространство.

На первой террасе предгорий, за постом Александровским помещались четыре длинных лазаретных корпуса.

В эту сторону они составляли как-бы границу поселения.

Дальше, за небольшим увалом, до самых хребтов протянулась узкая долина реки Малой Александровки.

Летом она зарастала кустами, громадных размеров лопушником и целыми рощами папоротника. Самый высокий человек мог свободно итти под этими зелеными сводами.

Но теперь все это было еще под снегом.

Одним пологим взмахом уходила к далеким горам эта осевшая стеклистая поверхность. Все—неровности, овраги, чаща кустов—было скрыто под нею.

Лишь кое-где одинокие ивы своими корявыми стволами отмечали прихотливые изгибы невидимой речки и стояли, как цепь часовых, простирая к небу свои узловатые, голые ветви.

В другую сторону, по снежному скату грязными пятнами чернели оттаявшие улицы, дворы и жалкие низенькие домишки поста Александровского.

А там, за ними, в каком-то грозном веселье Татарский пролив ломал свои ледяные оковы.

Стоя на высоком крылечке лазаретного корпуса, Сосновский жадным взглядом окидывал эту картину.

Сегодня в первый раз после двухнедельного острого бронхита вышел он из палаты подышать свежим воздухом.

Вон, среди этой груды мелких избушек тяжелой расползшейся массой высятся пали кандальной.

Сразу видно, что это центр жизни, сердце всего поселения. Все остальное создано для него или вышло из него.

Из него, из этого основного гнезда поста Александровского, перевезен был в начале марта в бессознательном состоянии и Сосновский.

Он простудился. Жестоко простудился, провалившись по горло в прорубь на взморье у самого стапеля, когда по льду подводил к нему притащенную из Михайловки кокору.

Всего только три месяца провел он в сапожной мастерской на легких работах.

Тюремный бунт по поводу истории с Головацким страшно всполошил начальство; ведь главная драма разыгралась именно в сапожной камере; а тут еще школа какая-то завелась самозванная, лекции какие-то подозрительные...

И вот, в результате, Сосновский снова на «тяжких работах» на старом пепелище, в четвертом корпусе.

Но теперь он вряд ли вернется туда. Вчера доктор Ларов с довольным видом сообщил ему, что губернатор, наконец, согласился оставить его при лазарете в качестве «перевязчика».

И взгляд Сосновского невольно остановился опять на приземистой, серой громаде кандальной.

С уходом оттуда он расставался с уголовными, которых за последнее время он все лучше и лучше начинал понимать.

И жаль, бесконечно жаль становилось ему этих людей, которых приходила пора покинуть.

— Вот,—думалось ему,—уж истинно, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. «Мудрым» распоряжением правительства одиноким я был заброшен в самый омут сахалинской уголовной каторги; один политический среди 800 уголовных! Меня сравняли с ними в «правах» и обязанностях, в работе и ответственности. Ты, мол, хотел «равенства», так получай его!

И что же? Я испытал его, это уравнение с людьми, которых почему-то принято считать подонками человечества.

И не нашел в нем, в этом уравнении, ничего ужасного, ничего для себя оскорбительного. Жил бок-о-бок с этими людьми, в самой гуще их интересов, радостей и огорчений.

И что же я нашел? Нашел, что все они, в социально-подходящих условиях, были бы совершенно иными людьми, нисколько не хуже каждого из нас, а многие, возможно, и лучше. Еще удивительно, что они в сахалинских условиях дичают и звереют не на все сто процентов! Просто удивляешься их крепости!

Невольно вздохнув, он вернулся в коридор и отворил первую дверь направо.

Здесь была его собственная комната.

Не камера, не каземат, а настоящая комната; в первый раз за три года.

В ней было одно большое окно без всяких решеток, но зато с настоящей кисейной занавеской; ее в первое же свидание доставила жена.

Затем стояла чисто застланная железная кровать, и рядом с ней у окна столик со стулом, а в ногах умывальник.

Больше в комнате ничего не помещалось за неимением места.

Но Сосновский был здесь полным хозяином. К нему не лез никакой надзиратель. Из окна виднелись не тюремные пали, а вольный снежный простор и зубчатое кольцо горных хребтов на горизонте.

Ни ограды, ни часовых кругом лазарета не было.

Подгорский с Ларовым отстояли неприкосновенность лазарета в этом отношении. Да и по правде сказать, сюда из кандального околотка попадали только такие больные, которым было не до бегства.

Такой случай, как помещение сюда Сосновского, был исключительным и не мало стоил хлопот Николаю Степановичу. Выручило беспробудное пьянство классного фельдшера Созина.

Хотя Сосновский по своим познаниям и не мог вполне заменить его, но все же, как студент-медик, скорее всякого другого мог быть полезным в уходе за больными, в ведении рецептурной книги и в посильной помощи при аптеке.

Все эти соображения были представлены губернатору доктором Ларовым.

— По закону, Сосновскому, ведь, остается пробыть в тюрьме для испытуемых всего лишь до осени. Силы его надорваны настолько, что раньше, как через 3 месяца, нечего и думать посылать его на тяжелые работы. А у меня в лазарете его можно использовать теперь же, как знающего работника, почти специалиста. В тюрьме он будет валяться без дела по околоткам, а здесь у меня ни одного дня не проведет без работы. К тому же Созин...

Но последний довод окончательно убедил губернатора.

— Гм! Гм! Да, действительно, верно. Там без работы, а здесь работа... Соображение, действительно, веское... Гм! Ну пускай остается... Под вашу личную ответственность, доктор.

Тот только поклонился, и вопрос был исчерпан.

Постепенно Сосновский втянулся в свои несложные обязанности.

Уже с 7 часов утра большая и непривычно чистая приемная наполнялась амбулаторными больными.

Были тут обитатели вольной команды, поселенцы и крестьяне из ссыльных, изредка заходили гиляки из Арк-во, ближайших юрт, находившихся в 7 верстах от поста Александровского к северу.

Всех их надо было записать в амбулаторную книгу, отметив, кто на что жалуется; повторным больным оказать помощь, прописанную врачом накануне, а остальных приготовить к осмотру.

И вот тут-то с невольным изумлением Сосновский убедился, в каком близком контакте находится тюрьма не только со всем постом Александровским, но и даже с посельями.

Его, например, знали положительно все, также как и его жену.

— Что, скоро и на волю, Борис Иванович? — спрашивает, бывало, какой-нибудь михайловский поселенец.

— К осени, слышал я!... Ежели на поселье думаете проситься, то идите к нам; земля хорошая, да и нескучно вам будет... Бугайский там, Кузин...

— А что у вас делать, в тайге-то, Борису Ивановичу? — вступался обитатель вольной команды, которого точно также впервые видел Сосновский.

— Чуть не все науки произошел человек, да в тайгу, к пенью вашему!? Надо полагать, к музею приставят Бориса Ивановича, либо в школу, бабе своей на подмогу.

— Хватил, паря—в школу! Держи-ка широким кверху! Так и допустят к этому делу! Слыхал, чай, в кандальной целое следствие навели: как учил, да кого, да чему — в сапожной-то? — скептически замечал третий. — Таким людям, брат, не дадут ходу. Потому, «им» не расчет, чтобы мы из темноты нашей вылезли. Вот на грязные лапы наши заплаты ставить—это с удовольствием, допускается; ремонту рабочей силы способствует,—философствует он, попыхивая кореньковой трубкой и разматывая помороженную ногу.—Что, не правду я говорю, Борис Иванович?

И он, хитро подмигивая, улыбается Сосновскому, как старому знакомому.

Тот только глазами хлопал.

Ровно в 8 часов в дверях обыкновенно появлялась высокая сангвиническая фигура доктора Ларова.

Ласково кивая на радостные приветствия любившей его тюремной публики, он быстро проходил в амбулаторию, и прием начинался.

Сосновский по списку вызывал поочередно больных из приемной и, сидя против доктора за маленьким столиком, записывал под его диктовку диагнозы и рецепты.

Сам Николай Степанович обладал почерком, более похожим на ассирийскую клинопись времен какого-нибудь Салманассара, чем на письмо русского интеллигента.

— Борис Иванович! — иногда взывал он. — Не разберете ли вы, что я тут написал? Чорт его знает, сам разобрать не могу.

Окончив прием и обойдя палаты, доктор уезжал, и Сосновский был свободен.

При каждом из трех корпусов лазарета был свой фельдшер, и при каждой палате еще несколько санитаров, так что, в общем, каждому работы было не так уже много, и люди не утомлялись.

Поэтому Сосновский с радостью принял предложение доктора освежить и пополнить свои знания в прозекторской. Сначала под руководством Николая Степановича, а потом уже самостоятельно, целыми часами возился он там с трупами, то препарируя их для исследований, то приводя в порядок после вскрытия.

Среди сахалинских каторжан и поселенцев особенно много кавказцев, по крайней мере, третья часть всего населения.

Непривычный, жестокий климат, тоска по родным горам и приволью беспощадно косили их легочными болезнями и в прозекторской редкую неделю не было одного, двух трупов.

— Удивительно порядочный человек, пока дело касается общебытового плана, — думал о Николае Степановиче Сосновский. — А вот совершенно не понимает нашей деятельности. Думает, что какие-то там земские комитеты и малые культурные дела возродят Россию. Толстовство какое-то навыворот! На все мои убеждения и споры он только посмеивается и говорит,—все это прекрасно в теории, но что когда я поживу побольше и узнаю людей поближе, то сам увижу, как мало еще способны они выполнить ту программу, которую я им навязываю в массе, как нечто вполне жизнеспособное и назревшее. А все-таки жаль, что некоторые товарищи так недоверчиво относятся к арестантской «шпане». По моему, на нее все-таки можно влиять, да и кому же, как не нам, следует попытаться ее перевоспитать?

Но в сущности говоря, молодое стремление открыть свои об'ятия для всего мира гораздо более заставляло его думать так, чем какие-либо тактические соображения. Но он просто не замечал этого, как здоровый человек не замечает своего здоровья.

А горячая потребность в привязанности, по необходимости молчавшая такое долгое время, искала себе выхода и готова была остановиться на каждом, кто более или менее чутко на нее отзывался.

Незаметно для него самого, эти чувства, если и не руководили вполне его поведением в кандальной, то давали первый толчок, первый луч тепла и света в неприглядной обстановке; зачастую заставляли утрировать значение своих начинаний и переоценивать, как восприимчивость окружающих, так и свои собственные силы.

— Славный мальчуган этот Сосновский,—думал доктор Ларов, придерживаясь за грядку саней, чтобы не вылететь на ухабах и раскатах разбитой мартовской дороги.—Только самоуверенный уж очень; в 22 года рассуждает с такой определенностью, как будто во всем мироздании для него нет больше ни тайн, ни сомнений... Положим, пред лицом мироздания и оба-то мы не

более, как младенцы, а в 22-то года и я рассуждал с такою же четкой определенностью. Да!—доктор вздохнул и понурился. — Жизнь научила меня сомнениям и компромиссам: семь раз отмерь—раз отрежь... а стал ли я от этого счастливее?..

Как-то Сосновский, разгоряченный очередным спором с доктором Ларовым, только что перестал ходить по усыпанной золою дорожке вдоль лазаретных корпусов, обсаженных тощими березками, и жадно стал вглядываться в разбросанную перед ним по скату массу избушек.

Вон там, не доходя кандальной, налево, серый двухэтажный домик Штернберга и Бражникова.

Ему страстно захотелось повидать людей одного с ним образа мыслей; людей родственной души, с которыми он мог бы говорить и спорить просто, по-товарищески, не боясь оскорбить кого-нибудь или обидеть.

— Сегодня и Сережка придет к ним из Дуйского рудника, если мой санитар не соврал... соблазнительно.

Дело в том, что Сосновский все еще числился за кандальной и потому с него взято было слово не попадаться на глаза начальству за пределами лазарета.

— Рискнуть разве вечерком, попозже?

— О чем так задумались, Бо́рис?—раздался за ним голос с заметным польским акцентом, и кто-то настойчиво потряс его за плечо.

— А, это вы, Агасфер?—очнулся Сосновский. — Ну, здравствуйте. Чего хотите? Пойдемте в комнату.

Гость, носивший такое легендарное имя, был бедно одетый средних лет человек странного польско-еврейского типа. Редкие, закинутые назад волосы над высоким, узким лбом; подстриженная курчавая бородка с проседью и серые глубоко запавшие глаза с какими-то удивительно маленькими зрачками.

Истощенный вид и неряшливая полуарестантская одежда показывали, что живется ему далеко не сладко.

Жил он в Малой Александровке, в знаменитых «Углах Зотыча», пробавляясь разным мелким кустарным ремеслом, вроде изготовления шкатулок из наплыва с надписью «о. Сахалин», резьбы по стеклу и т. п.

Официально Агасфер числился бродягой, был несомненно психически-тронутым человеком и с таинственным видом рассказывал Сосновскому свою «истинную родословную».

По этим рассказам, он являлся последним отпрыском старой польской фамилии графов Скарбек.

Именно в их замке, по его словам, жила Марина Мнишек, скрывшись из Москвы после трагической смерти Лжедимитрия; и он с такими подробностями описывал этот старый, седым мохом поросший замок с высокими бойницами и под'емным мостом, точно всего неделю, как выехал оттуда.

Лгал Агасфер обо всем этом очень красочно и обстоятельно; и в длинные зимние вечера Сосновский любил послушать его; казалось, читаешь Вальтер-Скотта или Сенкевича.

Фантазия и действительность, отрывки всевозможных знаний, ужасный французский язык, русская речь с польским оттенком и цитированье Шиллера—с еврейским, склонность к сентиментальности и способность «накрыть»—все перемешивалось в этом человеке самым пестрым образом. Кто он был на самом деле, так и осталось тайной.

— Вот посмотрите, Бо́рис, что я принес!—заговорил Агасфер, заметно делая ударение на первом слоге и ставя на стол длинную жестяную коробочку. — Это — консервированная в обыкновенном подсолнечном масле наша сахалинская сардинка. Ее очень много попадается между сельдью во время хода. — Вот бы начать дело! Как вы думаете?

Он раскупорил коробку и предложил попробовать.

Уложенные там серебристые рыбки, действительно, напоминали вкусом и запахом сардинку, но только были почти вдвое больше ее размерами.

— Я думаю назвать этот консерв «Sahalinne à l'huile»— «Сахалинка в масле». Коробка эта прошлогодней заготовки. Видите, как сохранилась и какой вкус? Ну, как вы думаете, Бо́рис?

— Да тут и думать нечего. Организуйте артель и начинайте дело. Деньги, вот, нужны и списаться с фирмами для сбыта тоже необходимо. У вас есть запас таких консервов?

— Осталось еще около десятка.

— Ну, вот и пошлите их почтовой посылкой куда-нибудь, где у вас есть знакомые, на пробу. Если понравится, пусть дают заказ. Себестоимость у вас определилась?

— Да. При массовом, кустарном, конечно, производстве обойдется себе копеек десять коробка.

— Ну, вот. А как дело с основным капиталом? Я, например, как и вы, ничего не имею. Артель, которую мы соберем, тоже вряд ли будет состоять из богачей. Сдать дело кому-нибудь из местных капиталистов и попасть к нему в кабалу—обидно, да и не в моих принципах это; я стою за артельное начало... Как же быть? Сколько потребуется на первое обзаводство? Вы подсчитывали?

— Прикидывал, как же! Видите ли, Бо́рис. Меньше десяти тысяч коробок ни одна солидная фирма заказа делать не будет. Это уже тысяча рублей. Затем пара лодок, невод, постройка сарая, котлы и прочий инвентарь—кладите тоже на тысячу рублей; да рублей пятьсот запасных, на случай. Около двух с половиною тысяч и наберется.

— Где взять такие деньги? А дело несомненно хорошее! Начать можно с вашей «Сахалинки», так сказать, для рекламы,

а затем постепенно развить сельдяной промысел, засол кеты, консервы из горбуши; ведь эта рыба не уступает лососине, даже нежнее ее. Главное, вся эта рыба идет здесь миллионами пудов. Материал прямо неограниченный... Во что может только вылиться впоследствии наша артель, кто знает!

Сосновский принялся вслух мечтать о тех временах, когда по всем округам и посельям Сахалина возникнут такие же артели, связанные одним общим делом; и вместо картежных притонов вроде «номеров» Маметки, или «танцклассов» попа-расстриги, Сахалин покроется сетью рыбопромышленных контор, связанных одной общей, выборной администрацией. Производство будет строго согласовано с ростом сбыта. Установим выборный контроль.

Прибавочной стоимости никакой не будет. Весь заработок целиком пойдет трудящимся, так как и администрация у нас будет из тех же рабочих, и она способствует, если не самой заготовке продукта, то его сбыту, получению заработка и его распределению.

Нормировку и расценку труда будем вырабатывать особыми расценочными комиссиями из специалистов всех отраслей производства и сбыта; это дело текучее, так как стоит в зависимости от положения рынка.

Сосновский совсем увлекся развитием этой идеи.

Он забыл даже, что перед ним сидит не вполне нормальный человек; что положиться на него как на серьезного сотрудника в таком деле совершенно невозможно.

— Но деньги... деньги! Где добыть их, эти несчастные две с половиной тысячи для начала?

— Да! И деньги... да и проект ваш этих артелей тоже... этого по моему и затевать не стоит,—недовольным тоном проворчал Агасфер, барабаня пальцами по столу. — Деньги найти можно, особенно при вашем содействии, но не для каких-то артелей. Да и посудите сами, Бо́рис. На кой чорт я, например, буду работать для этой шпаны? Зачем буду ставить себя в какую-то зависимость от них, когда я-то собственно и даю им заработок? Я—хозяин дела; ну, скажем, вы—тоже; и тот, кто дает деньги. А остальных мы просто наймем, сколько понадобится—и дело с концом. Так все делают, и это—самое правильное. Иначе никто не даст ни копейки, да и я не пойду в ряды рабочей кобылки. Я—инициатор, специалист, даю сбыт, готов научить их работе, но и только. Если кто-нибудь из них сумеет открыть самостоятельное дело и конкурировать с нами,—пожалуйста! А до тех пор мы—хозяева, а он—только рабочий.

— Да позвольте, Агасфер!—горячился Сосновский.—Неужели не ясно вам, что именно конкуренция и губит всякое дело?! Чтобы удешевить свое производство и убить этим противника, она выбрасывает на рынок огромные массы товара; получается

перепроизводство; товара не покупают, так как он лишний; новый выделывать поэтому нет смысла, один убыток и—производство останавливается; дело гибнет, а рабочие—на улице; да и хозяева разоряются, если не сумеют во́-время перебросить на другое дело, которое губят точно таким же образом. Вот почему я стою за организацию добровольных артелей. Они постепенно об'единяются, т. е., вернее, вырастают одна из другой естественным путем, согласно требованию рынка; регулируются не конкуренцией, а запросами этого рынка и потому не могут погибнуть сами и никому не помешают жить, никого не губят и не выбрасывают на улицу.

Так спорили они до тех пор, пока совсем стемнело и Сосновский вспомнил, что пора идти к товарищам, и что собеседник его—человек не вполне нормальный.

— Впрочем, это ничего! — утешал он себя.—Психически больного человека все же легче убедить в преимуществе артельной работы над капиталистической, чем какого-либо капиталиста.

Идемте, Агасфер! Вы меня проводите. Кстати, подумаем, где достать денег. Спорить же тут нечего. Дело само все покажет. Все равно начать придется артелью; ведь платить незаинтересованным в деле рабочим мы не можем; они будут делать все как попало и в лес смотреть. В конце концов, неудача обязательна, и нам они просто намнут шею. Сообразите-ка сами!

— Деньги... деньги?.. Нашел! — вдруг радостно вскричал Агасфер. Вот что. Я знаю, у доктора Подгорского имеются деньжонки... Он холостой и живет скромно... Не менее как пять—шесть тысяч, а то и все десять у него есть. Видали вы его, Бо́рис? Он заведует всей медицинской частью Сахалина и большой приятель Ларовых; каждый день почти бывает у них. Он, если даст, то и процентов не возьмет, разве что банковские.

— Да,—задумчиво отозвался Сосновский после некоторого молчания, шагая рядом с Агасфером по едва мерцающей в темноте снежной дороге.—Лично я мало знаком с ним; видел всего раза два здесь, в лазарете. По отзывам Ольги—это человек безусловно порядочный; он рука об руку с Ларовым борется против самодержавия здешних сатрапов и, что может, делает для каторжан, хотя бы в смысле добросовестного лечения, отдыхов и санитарного дела. Но... но как просить денег? Неловко ужасно. Ведь почти незнакомый человек... Через Ларова разве?

— Во всяком случае,—подумал он, прощаясь с Агасфером у крыльца Штернберга,—поговорю сначала с товарищами, а потом и с Николаем Степановичем, а там—увидим.—До свиданья, Агасфер. Попробую. Дня через два—три заходите за ответом... А дело хорошее!

Бражникова не было; он уехал в Рыковское. Штернберг встретил Сосновского очень приветливо.

У него сидели Серошевский, Поплавский, пришли из Михайловки Кузин с Бугайским и, чему больше всего обрадовался Сосновский, его любимый товарищ и друг, ставший теперь даже родственником, Сережа Солодовников, рискнувший-таки выбраться из Дуэ.

— Я, ведь, там начальство в некотором роде. Табельщиком меня назначили. У них там, чорт знает, какая путаница была при учете рабочей силы. Мне и поручили. А мне что?! Отчетность идет гладко, начальство довольно, а ребята, шахтеры мои, еще больше; я их не обижаю, и они меня тоже.

Долго сидели старые друзья, обнявшись, на продавленном диване, рассказывая о своих переживаниях.

Оказалось, что Солодовников не в первый раз посещает товарищей. Он частенько «удирает» из Дуэ и перебывал уже у всех. Заходил даже к своей кузине, жене Сосновского.

— Знаю, знаю!—смеялся этот.—Говорила она мне про твои похождения. Смотри только, не рискуй очень. Помнишь Домбровского?

— Ну нет, Борька. На этот счет у нас дело обставлено чудесно; сходимся на пристанской дороге. Кто-нибудь из дуйских рассыльных предупреждает ее, она и выходит туда. Впрочем, раза два я забрался даже на кухню к Ларовым и там беседовал с нею; в комнаты, конечно, не пошел, чтобы не подводить доктора; у него и так контры с губернатором... Скажут, что беглых политиков укрывает... Я не хочу этого.

— Чем же «пикантным» угостить вас, друзья? — шутил Штернберг, приглашая гостей к столу с кипевшим самоваром. — Вот, разве кетой нашей? Дальше этой рыбины не идет покуда сахалинская гастрономическая промышленность.

Пользуясь удобным моментом, Сосновский рассказал за столом о своем разговоре с Агасфером.

— Да что вы! Что вы!—замахали на него руками товарищи.— Нашли с кем связываться! Дело само по себе, конечно, хорошее и здесь не новое. Барон Кейзерлинг, человек с капиталом, предпринимал нечто подобное на Южном Сахалине. Ничего не вышло. Его сараи стоят там и сейчас заброшенные. Нет ни засольщиков опытных, ни, что самое главное, возможности наладить правильный сбыт. Очень большие средства нужны для этого; собственные хранилища и агенты не только здесь, но и в местах сбыта, собственные пароходы-рефрижираторы и т. п. Очень уж малоподвижны и недоверчивы наши толстосумы; никто не идет навстречу; и пути сообщения налажены плохо. Прогорел Кейзерлинг, а вы-то и подавно! Что же касается артелей, то их вам запретят самым категорическим образом; или надо втянуть в дело, как негласных участников, разных сильных мира сего, на что вы не пойдете. Что же касается Агасфера, то это полусумасшедший

авантюрист и, во всяком случае, личность очень темная. Вообще, мы предупреждали вас остерегаться уголовных, не очень доверять им! Поверьте, что у этих людей аморальность стала вторым инстинктом. И в удобный, соблазнительный какой-нибудь момент такой человек способен сделать гадость; и попадете вы нежданно-негаданно в какую-нибудь грязную историю.

Такие отзывы сыпались на Сосновского со всех сторон.

Молчал лишь один Солодовников.

— Агасфера я совершенно не знаю, — сказал он, наконец, с обычной своей прямотой.—Возможно, что это авантюрист, и рассчитывает запутать дело, чтобы прикарманить чужие деньги, как вы намекаете. Но с отрицательным мнением о всей уголовщине вообще позвольте не согласиться. Вы или мало сидели вместе с ними, или забыли это.

И он начал приводить пример за примером, подчеркивая такие черты из жизни каторги, которые не могли быть замечены со стороны и, по самому существу своему, могли появляться в поле зрения только прямого участника, но никак не зрителя этой своеобразной, полной противоречий жизни.

Сосновский передал эпизоды с хлебным протестом Черного его поведение и геройскую смерть во время бунта в сапожной, рассказал о Залетном и Мирном, о Хаджи и Алла-Верды, о Мухе, «Прокуроре», о своей школе и лекциях, о «Святой душе», о целой массе происшествий и типов весьма положительного характера или свойства.

— Да вы чего взбеленились-то оба? Разве мы отрицаем все это? Разве мы говорили, что во всех этих людях невозможно проявление хороших сторон? Да ничего подобного! В них, вообще, все проявляется болезненно ярко; как отрицательные, так и положительные свойства. Но вот именно эта болезненная, ставшая чисто патологической аффектация и делает их ненадежными в каком-либо серьезном, ответственном деле. Наступает момент, служащий, незаметно для вас, патологическим возбудителем... Трах! И все идет к чорту: медаль поворачивает изнанку, и вы оказываетесь в дураках, и хорошо, если еще не под судом по уголовному делу!

— Да я-то что же?! Младенец по вашему?—возмущался Сосновский.

Спор грозил затянуться до бесконечности, но Кузин, зевая, послал всех к чорту и заявил, что, наверное, Сосновский не откажется рассказать что-нибудь о своих путешествиях по Архангельским и Олонецким дебрям.

— Вы охотник, я слышал, и любитель природы!

— Ну, мне пора к «пенатам»,—заявил, вставая, Солодовников. — Чорт возьми! Второй час! До света я должен быть на месте, а ведь через туннель восемь верст идти.

Сердечно распростившись со всеми, он поплелся к Дуйским пенатам.

Начались бесконечные воспоминания об охотничьих приключениях. Серошевский, тоже страстный охотник, подсел к ним, а Штернберг, махнув рукой на «пропащих эстетов», ушел к своим книгам. Поплавский давно завалился на продавленный диван и храпел на всю столовую.

. . . . . .

Как и следовало ожидать, из попыток Сосновского достать где-либо денег для основания рыбопромышленной артели—ровно ничего не вышло.

Подгорский, по обычаю, уклонился от прямого, резкого отказа, и, посмеиваясь, говорил только, что, вообще, никогда не берется за дела не по своей специальности. Сосновский понял, что к разговорам о симпатиях медицинского персонала к политическим он не хочет добавлять конкретных примеров—с одной стороны, а с другой, что, действительно, участие Агасфера и в его глазах роняет всякое доверие к предприятию.

Местные лавочники, к которым обращался Агасфер, и слышать ничего не хотели о таких затеях. Им довольно было примера Кейзерлинга.

Видя бесцельность дальнейшего упорства, Сосновский отказался от всякого участия в деле и посоветовал Агасферу представить консервы губернатору.

— Спишитесь сначала с какой-нибудь крупной фирмой, хоть в Гамбурге... Вы говорили, кажется, там у вас есть знакомства... И когда получите благоприятный ответ, то представьте консервы губернатору. Расскажите ему о своих планах и скажите, что сбыт обеспечен. Может быть, он устроит вам какую-нибудь субсидию и вообще так или иначе поможет официальной поддержкой.

Агасфер с жаром принялся за подготовку «почвы» и почти совсем оставил в покое Сосновского. Он только забегал изредка, чтобы перехватить несколько копеек, то «на письмо», то «на телеграмму», то «за услуги» писарю в канцелярии и т. д.

Тот давал охотно и рад-радехонок был, что так дешево разделался со всей этой историей.

ГЛАВА IX.

Между тем весна делала свое дело. Не столько солнце, сколько жестокие зюд-вестные штормы, налетая из теплого Японского моря, вдребезги разбили и разметали с моря его ледяные оковы и согнали с улиц снежный покров, громоздившийся на них с половины сентября, т. е. почти восемь месяцев.

Из напоенной влагой земли под вешним солнцем полезла буйная растительность.

Южные склоны сопок запестрели цветами. Жемчужными трелями зазвенели в небе жаворонки.

Все ожило, цвело и ликовало, как будто и не на «каторжном острове».

В неглубокой балке за лазаретом гремели выстрелы и раздавались веселые крики.

То доктор Ларов и только что приехавший с «Ярославлем» новый врач Полесский с увлечением предавались стрельбе в цель пулями из винчестеров.

Николаю Степановичу захотелось угостить коллегу медвежьей охотой.

К нему как раз в это время явился известный по всему Сахалину старик-медвежатник, давно потерявший счет убитым медведям.

В прошлом году, жестоко изуродованный раненым зверем, старик этот привезен был в лазарет.

Николай Степанович вправил ему вывихи, зашил содранную с головы кожу, залечил вытекший левый глаз; одним словом, отремонтировал заново и поставил на ноги.

Старик вновь напялил на себя кожаную одежду, взял под мышку одноствольную фузею не менее как 4 калибра и фунтов 15 весу и, выпросив про запас фунтик пороху и бутылку спирта, вновь отправился в тайгу, где проводил и дни и ночи вот уже почти 20 лет подряд.

Там же он впоследствии и умер от старости, или от болезни—неизвестно. Охотники случайно нашли уже разложившийся труп и только по неизменной кожаной одежде и по знаменитой одностволке узнали умершего.

Но теперь он еще был жив, весел и, уплетая беззубым ртом своим жирный борщ на кухне у Николая Степановича, наобещал ему пригнать к самым ногам такого медведя, такого... что и свет не видал еще.

— Шашнадцати четвертей; седой весь; а след—во!

И сморщившись, после стаканчика водки, старик отмерил на столе немногим меньше аршина.

— А далеко?

— Да нет! Где там—далеко?! На «Верблюде», верстов пять отсюда; маленько полевее «Дуйки» будет.

Николай Степанович был прекрасный стрелок по бекасам, которых ухитрялся бить даже дуплетами, но на медведей отродясь не хаживал. А тут еще коллега подвернулся, тоже охотник. Угостить товарища таким развлечением, как медвежья охота, прямо необходимо! Тем более, что доктор Полесский принял в свое ведение тюрьму, оставив ему раз'езды по посельям, что конечно было гораздо интереснее. Лазарет же они вели уже вместе.

И вот теперь шла репетиция стрельбы по медведю.

На камне поместили бутылку. Сосновский встал неподалеку, чтобы следить, куда попадают пули, а стрелки поместились сначала в ста шагах, потом в пятидесяти, наконец, в двадцати пяти. Все бесполезно. Выстрелы гремели, пули свистали, чиркая по камням, а бутылка стояла себе да стояла, белея своей этикеткой на темном фоне глинистой осыпи.

— Ц-хэ!—раздалось за ними гортанное восклицание. Позади стоял повар Николая Степановича, красавец грузин Бартошвили и, глядя на упражнения стрелков, только с сожалением покачивал головой и причмокивал при каждом промахе.—Кто так стриляй? Зачим долго целил? Давай я тибэ покажу, как стриляй надо!— не выдержал он, наконец.

Улыбаясь, Николай Степанович молча передал винчестер повару.

Тот отмерил сто шагов, быстро отвернулся и почти мгновенно выстрелил.

Брызги стекла взвились в воздухе. Бутылки, как не бывало. Одно донышко стояло еще на камне.

— Поставь его прямо! — крикнул грузин, слегка опуская винчестер.

Грянул второй выстрел и смёл донышко с камня.

— Видишь—ворона летит?

Третий выстрел и—от вороны мало что осталось; только облачко перьев и пуху, подхваченное ветром, веяло в воздухе.

— Вот как стриляй надо!—сверкая разбойничьими глазами, сказал Бартошвили и подал винчестер.

— Теперь обедать иди!—сурово закончил он.—Баринэ давно ждет и суп простыл.

Через месяц повар этот в целости сдал все порученное ему имущество, распрощался с Ларовыми, перецеловал любивших его детишек и ушел с места, несмотря на все уговоры.

А еще через месяц уже наводил такую панику по всем дорогам северного Сахалина, что ловить его выслана была целая рота.

Почти год разбойничал он, стрелял без промаха то ловивших его солдат, то проезжих торговцев.

Наконец, удалось окружить его в болотистой тайге и, после нескольких часов перестрелки, взять уже мертвого.

Пятнадцать пулевых ран оказалось тогда на нем. Он сидел по горло в яме с водой и, поддерживая этим угасающие силы, отстреливался. Последняя пуля пробила ему голову.

— Думается, что именно та наша стрельба в цель взбудоражила так его нервы,—говорил Николай Степанович Сосновскому, рассказывая о смерти Бартошвили. — Не надо было давать ему ружья. Это разбередило старые воспоминания о разбойничьем приволье, и вот результаты... А ведь щепетильно-честный человек был; и детей любил как!

Через неделю после состязания в стрельбе, разыгрался и финал медвежьей охоты.

— Вооружились мы с головы до ног,—рассказывал потом Николай Степанович.—И повел нас старый плут через леса и горы. Лезли, лезли... Наконец, приводит он Ромуальда Антоновича к какому-то ручью и говорит: «Стой тут. «Ему» только два хода: или сюда, или вон там, за перевалом изгородь есть у старого покоса, так вот туда». Остался Полесский, а мы дальше по чертолому разному полезли. Вот, наконец, изгородь. «Либо с этой, либо с той стороны выйдет. Стой смирно и, сохрани бог, не кури!» говорит. «А я», говорит, «пойду нагоню «его» на тебя! Как закат солнца кончится, так и жди; в первые же полчаса здесь будет». Ушел. Стою я. Комары облепили; мошка столбом вьется. Курить хочется смертельно. Вот село солнце. Темнеть стало. Прикинул ружье на пробу.—Ну, думаю, тут и сам Бартошвили промажет: ни мушки, ни рамки, ни черта не видно! Разумнее всего, думаю, будет оставить изгородь между «им» и мною: и ружье опереть есть на что, да и не сразу меня облапит «он», в случае промаха. Но с которой стороны пойдет? Вот вопрос! Перелезу на всякий случай на ту сторону.—Перелез. Положил винчестер на изгородь. Жду. Темнеет заметно; однако, на чистое место покоса хорошо еще видно. Прошло с полчаса. Ноги затекли. Комары совсем заели. Постой, думаю; да зачем же «он» со стороны поляны пойдет? Она, вероятно, вся огорожена? Вот не догадался спросить. Ясное дело, со стороны тайги выйдет. Лучше перелезу опять на старое место. Перелез. Опять стою. Совсем стемнело. Пойду-ка, думаю, тихонько вдоль изгороди. Посмотрю—всю ли поляну окружает? Пошел. С первых же шагов провалился в какую-то колдобину. Вымок до пояса. Выбрался кое-как. Зажег спичку, на часы взглянул; батюшки! одиннадцатый час! Часа два стою здесь. Ну его к чорту, думаю, и с медведем! Давай кричать. Потом стрелять. Слышу—отзывается кто-то выстрелами. Пошел туда. Не помню, как и добрался до Ромуальда Антоновича. Сидит на камне у ручья. Голова платком обвязана — от комаров — говорит. Сидит, курит. «Весь портсигар», говорит, «почти кончил. Давно-бы ушел, да не знаю, как выбраться». Вот пошли мы вдвоем плутать по тайге. Темнота; трясина; бурелом везде. Едва вышли на дуйскую дорогу. Домой явились на себя не похожие; перепугали всех. Вот так угостил медвежьей охотой! И можете себе представить, что выкинул этот старый плут! Мы ему обещали по рублю за пуд, в случае если убьем медведя, и десятку за труды во всяком случае. Так он десятку с нас вперед выпросил, завел в тайгу за полверсты от дороги и поставил: жди тут сколько влезет; а сам ушел в Дуэ и всю ночь там в карты резался, пока всех денег не спустил. Каково? «Передайте»,—говорит, «доктору,

что оченно, мол, извиняюсь и вполне свое свинство понимаю». Так я его с тех пор больше и не видел. Вот публика!

. . . . . .

Ласковым, теплым приветом наполняло тайгу тихое июльское утро.

В раструбе узкой пади, как в раме, виднелось море, голубовато-серая, невыразимо нежного оттенка, застывшая стекловидная масса. В ней отражается тихо плывущее по небу кудрявое белое облачко.

Какая страшная ширь! Особенно с высоты перевала, с начала распадка.

У Сосновского зоркое зрение.

— Оля! Александра Петровна! Где вы там застряли? Смотрите: во-он—та сторона видна! Видите—голубеют горы чуть заметной волнистой полоской над горизонтом? Тут шестьдесят верст ведь... Устали взбираться? Ну, посидим здесь, на перевале. Потом спустимся на пляж; а там скоро и до гиляцких юрт доберемся... Хотите воды? Вон внизу ручеек; слышите, как журчит? Я принесу!

И не ожидая ответа, он быстрыми прыжками стал спускаться по крутому, извилистому склону.

Его синяя косоворотка, вышитая желтыми звездами по вороту, рукавам и подолу,—рукоделье жены,—то ныряла в чащу зелени, то вновь на мгновенье четко рисовалась на мшистых камнях осыпей.

Машинально следя за ним глазами, подруги уселись на густой сочной траве и с довольным видом отложили в сторону огромные букеты полевых цветов.

— Смотри, Стана, вон там—на противоположном склоне—неужели это ландыши? В июле-то?

— Да. Здесь они очень поздно распускаются и долго держатся, почти до половины июля. Это уж последние. Встречаются розовые и даже, говорят, голубые.

— Удивительно! Я всегда думала, что ландыши бывают только белые! И, вообще, здесь масса цветов... Сегодня рано утром Борис прислал мне огромный букет шиповника. Подобрал цветок к цветку и сложил в виде шара, розового, больше поларшина диаметром. Очень красиво. Уверяет, что нарвал их на морском берегу. На песке будто бы растут! А вот и он сам; воду несет в своем орехе кокосовом. Борис, показывай теперь, где шиповник нашел?

Со смехом и шутками все трое сбежали вниз, путаясь ногами в высокой траве и раз пять перескочив через узкий ручей, змейкой крутившийся по дну распадка.

Вот и морской берег.

Глубоко уходят ноги в нагретый солнцем песок; а на самом гребне пляжа, по черте прилива, длинной, извилистой линией

розовеют низенькие кусты шиповника; едва возвышаются они над уровнем почвы, но на сажень и больше уходят в песок ползучие корни.

— А это что? Стана! Борис! Смотрите. Ведь это японский ирис!

Ближе к стенке утесов виднеется целое поле этих стройных цветов. Точно стая бабочек, фиолетовых и желтых, неподвижно висит в воздухе над щетиной высокой, саблеобразной травы.

Сразу над ними вздымается отвес прибрежных утесов. На изрытой, хрящеватой поверхности его отчетливо видны разноцветные пласты почвы.

Песок, охра, железная руда... Вот серый мергель...

— Смотрите; аммонит! Вот еще, еще... Какие большие!

Сосновский вывернул из стенки и подал спутницам окаменелую, спиралью свернутую раковину, около пол-аршина диаметром.

— Они характерны для юрской системы. Вот бы раскопки произвести! Наверное, можно натолкнуться на окаменелых ихтиозавров, птеродактилей, плезиозавров... Для ученых палеонтологов тут раздолье. Как раз в эту эпоху гигантские хвощи и папоротники, заваленные новыми напластованиями, или залитые водой,—кто их знает,—стали образовывать каменный уголь.

— Порядочно, должно быть, росло их на том месте, где теперь Сахалин. Ведь почти весь остров завален углем. А что же выросло на месте хвощей?

— Саговые пальмы пошли и хвойные деревья, смотря по климату. Вот интересное время! Представьте себе: непроходимые леса гигантских саговых пальм. Бродят там ихтиозавры, этакие крокодилы сажен по пять, по шесть; плезиозавры высовывают из травы двухсаженную шею; в воздухе, вместо чаек, реют зубастые птеродактили; а на морском берегу лежат двухаршинные раковины и блестят на солнце перламутровыми створками.

— А солнце-то, солнце! Воображаю, как оно тогда жарило! Надо же было поддерживать всю эту гигантскую жизнь! Пожалуй, и хорошо, что нас там не было. Если не с'ест тебя какое-нибудь чудовище, то задохнешься от жары и болотных испарений.

— Ну, мы и сами были бы тогда тоже чем-нибудь чудовищным.

— У тебя, Борис, был бы приплюснутый лоб и острые уши. Ты бы подстерегал нам на обед какого-нибудь птеродактиля; а поймав его, загрызал бы зубами; это удобно, так как челюсти у тебя выдвигались бы на поларшина вперед.

— А у тебя, Оля, были бы тогда кривые ноги и длинные руки с грязными ногтями. Вот, я вижу, как ты лезешь на дерево за плодами для дессерта! Но какой прелестный пляж! Прямо, как асфальт! Смотрите: кто-то проехал здесь недавно. Отпечатки колес едва угадываются, и подков почти не видно; а мы даже следов не оставляем.

— Да, во время отлива здесь всегда ездят по берегу до самых Арковских юрт. Там скалы выступают далеко в море и не всегда их можно об'ехать. Впрочем, когда отлив полный, то можно. За Арк-во опять такой же пляж.

— Вот бы где морской курорт построить!

— Ну, не очень-то хорошо. Вода, как лед, холодная все лето. Теченьем Амура тянет сюда воду прямо из Охотского моря, а там ведь и в июне встречаются плавающие льды. И знаете, что мне кажется,—заключил Сосновский,—что когда-то Сахалин непременно был полуостровом. Тогда и климат здесь был мягче, вроде японского. Ведь куро-сиво тогда свободно заходило сюда и наполняло теплой водою весь залив. Тот камыш, который теперь так удивительно странно растет вместо моха и травы в здешних еловых лесах, есть не что иное, как выродившийся от времени японский бамбук. Течение Амура, направленное почти к югу у самого перешейка, сотни лет било прямо в него и постепенно проломало эту преграду; получился пролив. Холодная вода Охотского моря стала всасываться в него этим амурским течением, и вот климат изменился к худшему. На месте субтропических японских деревьев повырастали наши елки, а неприхотливый бамбук уцелел, хотя и выродился совершенно.

— Так что—если...

— Да, да! Если пролив в этом узком месте заделать, то теплый климат снова должен вернуться. Обязательно займусь этим вопросом, как только кончится моя каторга и можно будет свободно ходить по острову. Я и сейчас почти уверен, что я прав.

В оживленной беседе молодые люди незаметно прошли не сколько верст по гладкому и плотному отливу.

Широкая, сажен в 20, полоса его лоснилась, как хорошо натертый паркет, пологой дугой уходя к синеющему вдали мысу.

На каждом шагу попадались разноцветные студенистые полушария медуз, изгибающиеся на песке морские звезды, били фонтанчики брызгунов, и стайками перелетали длинноногие кулики.

С тихим шорохом шевелилось спокойное море, отступая все больше и больше от берега.

Узкая полоса белоснежной пены прихотливым бордюром вилась вслед за нежной, длинной волной.

Ленты морской капусты ворочались местами, как невиданные, зеленые змеи.

Бесчисленные стаи чаек плавали на зеркальной поверхности моря, реяли в синем небе, и тихой меланхолией звучали их крики в теплом, безветренном воздухе.

Вот пляж уперся в скалу. Беспокойно лижут здесь волны, темно-зеленым мохом и тиной покрытые, скользкие камни. Брызги огнистым фейерверком взлетают иногда кверху.

— Воображаю, что делается здесь во время бурного прилива!

Дорога круто свернула направо и глубокими песчаными колеями вошла в долину узенькой речки «Арк-во».

Высокая, по-пояс трава. Опять кусты шиповника. Но теперь уже сплошной стеной, выше роста человеческого, обступили они дорогу; точно неведомые садовники заботливо устроили здесь эти цветущие, розовые шпалеры.

Высокие, столетние ивы, березы и осины разбросаны там и сям по долине, широкой воронкой уходящей все выше и выше, к синеющему вдали перевалу.

Все тонет в легком мареве аромата травы и цветов.

Многоголосое тявканье с волчьим подвыванием нарушило вдруг величавое спокойствие этой картины.

В густой траве видны тропинки.

Вот вынырнула оттуда маленькая коричневая, совершенно голая фигурка. Гиляченок! (Рис. 4).

Засунув палец в рот, он любопытно смотрит на путников черными, косо прорезанными глазенками. Черные, как смоль, волосы пучком связаны на затылке и торчат кверху забавным веером; должно быть—лет восемь мальчишке. Вот он засмеялся и мгновенно исчез в высокой траве.

На косогоре раскинуто пять-шесть юрт, сажен на двадцать одна от другой.

На тонких корявых столбах, аршина в 2 высотою—помост из жердей; на нем низенький, кое-как свороченный сруб с дверью, но без окон; против двери на помосте площадка, нечто вроде балкона; все покрыто высокой, двухскатной крышей с большим навесом; сбоку прислонены длинные нарты (сани), какие-то палки стая собак привязана в тени к столбам, под юртой.

Ощетинив пушистые спины, они поднялись теперь и встречают гостей дружным воем; пушистая, большей частью пестрая шерсть; острые, как у лисиц, морды; стоячие, как стальные, острые уши; рост крупной дворняжки, но лапы тоньше и выше, а хвостов нет ни у одной.

— Вот забавные зверюшки! И как подходят они к этому ландшафту, к этим юртам! Теперь мы попали в эпоху каменного века и свайных построек. Вон сети развешаны. Смотрите: они сделаны из волокон крапивы. Кладовки тоже на сваях и с широким выступом, чтобы звери не могли туда забраться. Вон на длинных жердях вялится кета целыми пачками. Это запасы на зиму делаются для людей и собак—одинаково.

На шум и гвалт из ближайшей юрты выглянула женщина и, радостно осклабившись, стала звать к себе путников.

Здесь они привыкли к подачкам и никого не боятся.

По двум бревнышкам, с зарубками вместо ступенек, взобрались кое-как на помост и, согнувшись в дверях, вошли в юрту.

Гиляцкая юрта.

Мужчин нет. Все на рыбной ловле. Ребятишки бродят по лесу. Только самые маленькие возятся и кувыркаются вместе с собаками возле юрты.

Внутри она довольно поместительная. Потолка нет, и потому свободно можно стоять прямо кому угодно. Вдоль стен кругом низкие нары; на них вороха оленьих шкур; есть и медвежьи. Посредине очаг, — просто ящик, набитый песком; на нем сейчас разведен костер, и пламя весело играет под большим круглым котлом; на длинной веревке он подвешен к поперечной балке. В глубине еще одна, закрытая оленьими шкурами дверь; там— буфет для посуды, а заодно и склад для лыж, оружия и других принадлежностей охоты или рыболовства и домашнего обихода.

Женщина немного говорит по-русски. Со смехом и забавной жестикуляцией она об'ясняет, что в котле варится вяленая кета и клубни «саранки», гиляцкого картофеля, как его называют. Его яркие цветы, в виде оранжевой лилии в миниатюре, попадаются во множестве на лесных полянах и тенистых склонах гор.

— Если мужчины привезут свежей рыбы, то она вбросит в котел хорошую порцию в награду им; а если нет, то и так хорошо. Пусть довольствуются и этой похлебкой!

Она смеется, мотая головой; и медные кольца в ее ушах прыгают, а толстая черная коса взлетает на воздух. На ней белая холщевая рубаха с синим низом, собранная в мелкие складочки около круглого выреза у шеи; на поясе несколько ножичков различной формы и величины и кисет с табаком; ноги босые.

Это домашний костюм.

На просьбы гостей она вытаскивает из-под нар короб, обтянутый оленьей кожей, и начинает показывать свои наряды; тут и остроносые сапоги из рыбьей кожи, и такие же из оленьей, расшитые красными и белыми шнурками; тут и цветные длинные рубахи с нашитыми сверху узорными вставками и медными шариками по подолу; и кожаные пояса с набором ножей; и замшевые кисеты, рукавицы, оленья шуба мехом вверх, соболья шапка с наушниками, горжетка из соболиных хвостов, мотки ниток из оленьих жил и другие из крапивы, и прочие сокровища.

С непривычки дым сильно ел глаза, едва проходя в отверстие крыши; пахло испорченной рыбой и плохо выделанными шкурами.

Подарив гилячке на прощанье синюю ленту из косы Сибирской Розы и двугривенный, отыскавшийся в кармане Сосновского, молодые люди с удовольствием выбрались, наконец, из юрты.

— Обратно пойдем горной дорогой. Небольшой круг сделаем? Все равно: времени еще много. Не устали, ведь?

— А незавидное житье этих бедняг. Подумать ужасно, какие условия...

— Да это нам ужасно, а они поколениями родились и умирали этих условиях. Пересади их в наши, и они зачахнут. А вот

каково было первым поселенцам здесь? Мне товарищи рассказывали, что когда прибыла сюда первая партия ссыльных «польского пролетариата» в 87 году, то жить пришлось именно в таких юртах, пока, наконец, построились по-европейски. Ведь юрту можно сделать в два, три дня, а на постройку избы уходят целые месяцы.

Постепенно повышаясь, дорога шла точно в каком-то английском парке; отдельные величавые деревья сменялись небольшими рощами; целые моря густой, зеленой травы пестрели цветами; пушистыми кудрями клубились кусты боярышника, жимолости, ракитника; перекликались певчие птицы, которых, кстати сказать, очень мало на Сахалине, и порхали пестрые бабочки.

Но вот дорога дошла до перевала и раздвоилась; влево к Рыковскому, вправо домой, в пост Александровский.

Из уютной, цветущей долины, укрытой от холодных ветров, сразу вышли в суровую, молчаливую глушь. Ни птичек, ни бабочек. Волнистые сопки, утыканные редкой щетиной обгорелых пней; за ними темные лесистые громады угрюмых хребтов; местами перелесок; тесной толпою обступают тогда песчаную дорогу седые, косматые ели. Не белеют березки, как в долине «Арк-во», и даже осина не трепещет своей нервной листвою.

Все тихо, и только изредка донесется откуда-то пронзительный крик ястреба, да с края дороги шарахнется в глубину леса выводок рябчиков.

— Много раз таскал я бревна по этой дороге; и зимою и летом,—вспоминает Сосновский задумчиво.

— А вот, кстати, хорошую новость могу передать вам, Борис Иванович,—заговорила Сибирская Роза.—Сегодня папа сказал, что Мерказин согласился на ваш перевод в музей. Там теперь заведует доктор Полесский, но ему нет времени, не справиться одному, и они с Ларовым устроили туда вас. Комнатку вам дадут там же.

— Вот это великолепно!—оживился Сосновский.—Ты чего же, Лелька, молчала. Наверное знала, ведь?

— Да я нарочно берегла на сегодня. Пусть эта новость будет от Станы подарком в день нашей свадьбы.

— И скоро мой перевод состоится?

— Да на-днях. Вот только перегородку поставят в одной из комнат музея, где бы вам поместиться.—Но вот и лазарет уже виден. Идемте скорее, а то без обеда останетесь. Четвертый час уже.

Конечно, это была только шутка.

В комнате Сосновского они нашли массу всякой вкусной снеди, присланной туда Ларовым и Серебрянскими, и весело чокнулись стаканчиком марсалы за здоровье всех отсутствующих друзей.

. . . . . .

— Ну, вот ваши владения, Борис Иванович,—говорил доктор Полесский, худощавый, средних лет человек, с лысеющим лбом и глубоко запавшими глазами, водя Сосновского по комнатам музея.

Их было всего пять. Две, побольше, заняты стеклянными шкафами и витринами; одна, маленькая, оставлена для заседаний музейной комиссии; остальные две должны были служить для разных работ; там же за перегородкой стояла кровать и столик со стулом для Сосновского.

— Началась новая эра в моей жизни, — думал он, сидя через месяц в рабочей комнате музея за большим письменным столом и старательно раскрашивая акварелью заготовленные им же фотографические снимки птиц и зверей для альбома. Новая-то эра—новая, но по всему вероятию, далеко еще не последняя. А забавна эта смена профессий! Сначала шахтер, да еще по всем специальностям: и откатчик и крепильщик и даже забойщик; потом бревнотаск, грузчик, шоссейщик и копач; плотник и конопатчик; сапожник, фельдшер и препаратор; а теперь еще фотограф, модельщик, чучельщик, классификатор и даже скульптор.

— Боюсь, как бы не сделали меня в конце концов губернатором!—смеясь, обратился он к специалисту-скульптору из уголовных, возившемуся у другого стола над лепкой гиляцкой маски.— Как вы думаете, Александр Ефимович? Семнадцатую специальность изучаю — скульптуру. От шахтера до скульптора-художника и натуралиста-классификатора. И все за полтора года. Целый роман. Ведь если так будет продолжаться, то не миновать мне и губернаторства! А ведь знаете, чем это пахнет?

— Ну?—спросил скульптор, откладывая шпатель и глядя на соседа недоумевающими глазами.

— Да тем, что в тот же день я попаду под суд за неблагонадежность, и всю историю придется начинать сначала.

— Да ну вас совсем! Я думал—вы что-нибудь серьезное... Вы лучше скажите, кончен ли у вас коринфский консоль с виноградными листьями? Или все еще в глине?

— Да вот он, на полке. Не ворчите пожалуйста. Вчера вечером кончил.

— Ну-ка, ну-ка!—оживился скульптор, откидывая с фигуры кусок грубого холста и прищуриваясь.—А, ведь, ничего! Я ожидал худшего, судя по вашей непоседливости. Вот только пропорционален уж черезчур... Так нельзя, батенька! Надо соображать, что консоль—не на выставку и не для рисовальных классов, а для практических целей. На таких консолях будут у нас расставлены частью характерные группы птиц, а частью вазы с букетами из хлебных колосьев.

— Ну, так что же?—удивился Сосновский.—Какой же грех тут в пропорциональности? Ждал похвалы... ведь на глазок делано... а вы ругаетесь.

— Все еще не соображаете? Да поймите вы, что консоль будет прибит к стене значительно выше глаз, приблизительно на высоте двери. Следовательно, по закону перспективы, он снизу будет казаться короче, чем есть на самом деле. Поняли? Значит, что? Значит, надо было удлинить его против нормы с таким расчетом, чтобы снизу он казался пропорциональным, а не расплывшимся. Теперь ясно?

— Ясно. Я и забыл, что искусство есть «нас возвышающий обман». И тут обман и мороченье головы! А насчет непоседливости, уж—ах оставьте! Да вот, слышите?

— Борис Ива-анович!—взывал чей-то голос в окно.—Из кандальной опять двоих привели. Будете, что ли, снимать?

— Вот, не угодно ли?.. Буду! Конечно, буду! Погода серенькая, самая подходящая. Идите сюда!—крикнул он, откидывая с двери на черное крыльцо крючек и вытаскивая аппарат из угла комнаты.

Окончив сеанс и попросив посетителей обождать, он влез в темную комнату и занялся проявлением.

Только что в кюветке стали выступать резкие черные пятна полуобритых лбов, как теперь уже сам скульптор закричал во весь голос:

— Кончайте скорее, Борис Иванович! Наш Михей выпил весь спирт из медицинских препаратов и налил морской воды. Ромуальд Антонович пришел, хотел забрать часть банок в лазарет, и дело обнаружилось.

— Вот публика!—с досадой ворчал Сосновский, опуская промытую пластинку в гипосульфит.—Вот так сторож! То-то он все допытывался, не вреден ли такой спирт. И когда только пришлют нам древесного?—Так будьте добры, не давайте законного хода этому делу, Ромуальд Антонович!—убеждал он рассерженного доктора.—Старика выдерут и запрут в кандальную, а там он совсем пропадет... Ну скажите, что я, что ли, нечаянно опрокинул банки...

— Да не могли же вы «нечаянно» опрокинуть двенадцать банок с препаратами и четыре со змеями и рыбами! Вед это уже чорт знает что! Все выдул, негодяй этакий!—горячился доктор.—Что у нас тут? Музей или распивочная?

— В чем дело?—раздался за ними спокойный, слегка заикающийся голос Штернберга.—Какая распивочная?

Выслушав драматическое происшествие, он со смехом стал на сторону Сосновского, и вдвоем они скоро уломали разобиженное начальство.

— Вы поляк, доктор,—а Лев Яковлевич еврей; я же русский, и мне ближе, чем вам, психология моих соотечественников!—

шутил Сосновский.—Еще Владимир Святой сказал: «веселие Руси есть пити, и без вина не можно нам быти». Вот именно эта историческая справка и пусть послужит смягчающим обстоятельством. К тому же и Лев Яковлевич на моей стороне.

Штернберг закончил срок своей ссылки и на-днях уезжал в Россию.

Теперь он зашел проститься с товарищем и поделиться с музеем последними итогами своих многолетних этнографических трудов.

Еще раз вместе обошли они все витрины, пересматривая наклеенные этикетки на одеждах, орудиях охоты и предметах домашнего и религиозного быта.

— Как же вы думаете пробираться в Питер, Лев Яковлевич? Ведь это не дешево стоит.

— Да очень просто. Беру с собою диапозитивные снимки своих путешествий и наблюдений; волшебный фонарь у меня хороший; немного деньжонок прикопил... Буду в больших городах читать платные лекции... Проберусь как-нибудь. Ну, прощайте, дорогой мой! Не поминайте лихом. Вспоминайте иногда мой последний завет: не очень увлекаться прекраснодушием. Оно ведет лишь к компромиссам.

Сердечно обнявшись на прощанье, они расстались.

Долго стоял еще Сосновский на крылечке музея, задумчиво смотря вслед высокой сухой фигуре товарища в легком черном пальто и широкополой серой шляпе на седеющих черных кудрях.

Вспомнился ему от'езд Бражникова и такое же теплое прощанье.

— Вот люди,—думал он. При всей прямолинейной четкости своих идеалов и полнейшем соответствии с ними всего поведения,—они сумели уберечь себя от сектантской черствости и сохранить не только живую, но и нежную душу. И всю эту душу, всю ее нежность и теплоту отдавали они ссыльным товарищам и их детям. Если многие из этих детей учатся теперь в Хабаровской или Владивостокской гимназиях, то единственно благодаря им, этим людям. Они их подготовили, они помогают платить за них; они даже качали их колыбель в детстве и поили теплым молоком из детской соски, пока мать бегает на базар, стирает или стряпает. Пусть хоть теперь улыбнется вам жизнь и даст заслуженный отдых. А мне... Мне вряд ли удастся свидеться с вами. Моя страда еще только начинается... Только три года прожиты... Семнадцать впереди остается... Ух! Какая махина!

Нервным жестом Сосновский схватился за голову, чувствуя, как волосы на ней шевелятся, и понурившись пошел в свою загородку.

Серой вереницей поятнулись однообразные трудовые дни. Полный свежих впечатлений кандальной каторги, Сосновский начал писать заметки о тюремных типах, встречах и происшествиях.

— Когда-нибудь можно составить из всего этого интересную повесть.

Наступила осень. Пошли холода и повалил снег с ветром. Грозно ревели и бились с надвигающимися ледяными оковами волны Татарского пролива.

Уехал к месту другой службы Турский.

Губернатор несколько раз заходил в музей, «по соседству» и довольно долго расспрашивал об экспонатах, избегая личных местоимений и показывая обычную для таких высоких чинов фамильярность с научными данными.

Заглянул в Татарский пролив английский броненосец.

Офицеры его посетили музей, с обычной британской пунктуальностью интересуясь каждой мелочью.

Сосновский водил их от витрины к витрине, с грехом пополам ведя об'яснения на латинском языке.

Корабельный врач тоже помнил кое-что из латыни, и с его помощью разговоры велись довольно непринужденно.

— Почему же вы до сих пор не уехали?—спрашивали офицеры.—Ведь каждый год заходят к вам иностранные суда. Мы не заметили бы вашего присутствия на корабле до самого выхода в Тихий океан.

Сосновский об'яснил причины, по которым не считал себя вправе покидать товарищей, и на прощанье все, по старшинству, крепко пожали ему руку и, отдав честь по военному, чопорно удалились с непроницаемыми лицами.

Наступил октябрь. Пришел и ушел «Ярославль», сбросив обычный груз каторжан.

Снег покрыл землю, и у берегов образовались ледяные поля.

— Борис, милый! Нам разрешено поселиться вместе... Наконец, ты переведен в вольную команду!—еще издали кричала Сосновская, вбегая в рабочую комнату музея, где ее муж только что закончил группу из двух ласточек над гнездом в развалине ветки и теперь издали рассматривал свое произведение.—Я нарочно в школу опоздала, чтобы первой сообщить тебе об этом.

Сосновский радостно обнял ее. И оба они долго без слов смотрели в окно на ревущий Татарский пролив, бившийся в берег угрюмого острова, где им осталось жить еще семнадцать лет.

— Вдвоем легче: как-нибудь вынесем. А может быть— и Сосновский с надеждой посмотрел на запад—освобождение придет и гораздо раньше... Не может быть, чтобы не пришло!

Севастополь.
10/VIII—1924.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЫ
Инв. №

17961

17961

Цена 1 р. 50 к.

Кн. XXVII

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва-34, Лопухинский пер., 5. Тел. 3-64-73. Правление и Контора Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Москва-Центр, Петровка, 7. Книжный склад „Маяк" Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан. Телеф.: 4-18-12 и 3-63-20.